Максимъ Горькій

ДѢТСТВО



Berlin
J. Ladyschnikow Verlag G.m.b.H.

Maxim Gorki

Meine Kindheit

МАКСИМЪ ГОРЬКІЙ

ДѢТСТВО

BERLIN
J. Ladyschnikow Verlag
G. m. b. H.
[1914]

Spamersche Buchdruckerei in Leipzig

I.

Въ полутемной тѣсной комнатѣ, на полу, подъ окномъ, лежитъ мой отецъ, одѣтый въ бѣлое и необыкновенно длинный; пальцы его босыхъ ногъ странно растопырены, пальцы ласковыхъ рукъ, смирно положенныхъ на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками мѣдныхъ монетъ, доброе лицо темно и пугаетъ меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, въ красной юбкѣ, стоитъ на колѣняхъ, зачесывая длинные, мягкіе волосы отца со лба на затылокъ черной гребенкой, которой я любилъ перепиливать корки арбузовъ; мать непрерывно говоритъ что-то густымъ, хрипящимъ голосомъ, ея сѣрые глаза опухли и словно таютъ, стекая крупными каплями слезъ.

Меня держитъ за руку бабушка, круглая, большеголовая, съ огромными глазами и смѣшнымъ рыхлымъ носомъ; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачетъ, какъ-то особенно и хорошо подпѣвая матери, дрожитъ вся и дергаетъ меня, толкая къ отцу; я упираюсь, прячусь за нее, мнѣ боязно и неловко.

Я никогда еще не видалъ, чтобы большіе плакали, и не понималъ словъ, неоднократно сказанныхъ бабушкой:

— Попрощайся съ тятей-то, никогда ужъ не увидишь его, померъ онъ, голубчикъ, не въ срокъ, не въ свой часъ...

Я былъ тяжко боленъ, — только-что всталъ на ноги;

во время болѣзни, — я это хорошо помню, — отецъ весело возился со мною, потомъ онъ вдругъ исчезъ, и его замѣнила бабушка, странный человѣкъ.

— Ты откуда пришла? — спросилъ я ее.

Она отвѣтила:

— Съ верху, изъ Нижняго, да не пришла, а пріѣхала! По водѣ-то не ходятъ, шишъ!

Это было смѣшно и непонятно, невѣрно: наверху, въ домѣ, жили бородатые, крашеные персіяне, а въ подвалѣ старый, желтый калмыкъ продавалъ овчины. По лѣстницѣ можно съѣхать верхомъ на перилахъ или, когда упадешь, скатиться кувыркомъ, — это я зналъ хорошо. И при чемъ тутъ вода? Все невѣрно и забавно спутано.

— А отчего я шишъ?

— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смѣясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я съ перваго же дня подружился съ нею, и теперь мнѣ хочется, чтобы она скорѣе ушла со мною изъ этой комнаты.

Меня подавляетъ мать; ея слезы и вой зажгли во мнѣ новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою, — она была всегда строгая, говорила мало, она чистая, гладкая и большая, какъ лошадь; у нея жесткое тѣло и страшно сильныя руки. А сейчасъ она вся какъ-то непріятно вспухла и растрепана, все на ней разорвалось; волосы, лежавшіе на головѣ аккуратно, большою свѣтлой шапкой, разсыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина ихъ, заплетенная въ косу, болтается, задѣвая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою въ комнатѣ, но она ни разу не взглянула на меня, — причесываетъ отца и все рычитъ, захлебываясь слезами.

Въ дверь заглядываютъ черные мужики и солдатъ-будочникъ. Онъ сердито кричитъ:

— Скорѣе убирайте!

Окно занавѣшено темной шалью; она вздувается,

какъ парусъ. Однажды отецъ каталъ меня на лодкѣ съ парусомъ. Вдругъ ударилъ громъ. Отецъ засмѣялся, крѣпко сжалъ меня колѣнями и крикнулъ:

— Ничего, не бойся, Лукъ!

Вдругъ мать тяжело взметнулась съ пола, тотчасъ снова осѣла, опрокинулась на спину, разметавъ волосы по полу; ея слѣпое, бѣлое лицо посинѣло, и, оскаливъ зубы, какъ отецъ, она сказала страшнымъ голосомъ:

— Дверь затворите... Алексѣя — вонъ!

Оттолкнувъ меня, бабушка бросилась къ двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался въ темный уголъ за сундукъ и оттуда смотрѣлъ, какъ мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокругъ, говоритъ ласково и радостно:

— Во имя Отца и Сына... Потерпи, Варюша!... Пресвятая Мати Божія, Заступница...

Мнѣ страшно; онѣ возятся на полу около отца, задѣваютъ его, стонутъ и кричатъ, а онъ неподвиженъ и точно смѣется. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась изъ комнаты, какъ большой черный мягкій шаръ, потомъ вдругъ во тьмѣ закричалъ ребенокъ.

— Слава Тебѣ, Господи! — сказала бабушка. — Мальчикъ!

И зажгла свѣчу.

Я, должно быть, заснулъ въ углу, — ничего не помню больше.

Второй оттискъ въ памяти моей — дождливый день, пустынный уголъ кладбища; я стою на скользкомъ бугрѣ липкой земли и смотрю въ яму, куда опустили гробъ

отца; на днѣ ямы много воды, и есть лягушки, — двѣ уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочникъ и двое сердитыхъ мужиковъ съ лопатами. Всѣхъ осыпаетъ теплый дождь, мелкій, какъ бисеръ.

— Зарывай, — сказалъ будочникъ, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятавъ лицо въ конецъ головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю въ могилу, захлюпала вода; спрыгнувъ съ гроба, лягушки стали бросаться на стѣнки ямы, комья земли сшибали ихъ на дно.

— Отойди, Леня, — сказала бабушка, взявъ меня за плечо; я выскользнулъ изъ-подъ ея руки, не хотѣлось уходить.

— Экой ты, Господи, — пожаловалась бабушка не то на меня, не то на Бога и долго стояла молча, опустивъ голову; уже могила сравнялась съ землей, а она все еще стоитъ.

Мужики гулко шлепали лопатами по землѣ; налетѣлъ вѣтеръ и прогналъ, унесъ дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела къ далекой церкви, среди множества темныхъ крестовъ.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. — Поплакалъ бы!

— Не хочется, — сказалъ я.

— Ну, не хочется, такъ и не надо, — тихонько выговорила она.

Все это было удивительно: я плакалъ рѣдко и только отъ обиды, не отъ боли; отецъ всегда смѣялся надъ моими слезами, а мать кричала:

— Не смѣй плакать!

Потомъ мы ѣхали по широкой, очень грязной улицѣ на дрожкахъ, среди темно-красныхъ домовъ; я спросилъ бабушку:

— А лягушки не вылѣзутъ?

— Нѣтъ, ужъ не вылѣзутъ, — отвѣтила она. — Богъ съ ними!

Ни отецъ, ни мать не произносили такъ часто и родственно имя Божіе.

*   *
*

Черезъ нѣсколько дней я, бабушка и мать ѣхали на пароходѣ, въ маленькой каютѣ; новорожденный братъ мой Максимъ умеръ и лежалъ на столѣ въ углу, завернутый въ бѣлое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлахъ и сундукахъ, я смотрю въ окно, выпуклое и круглое, точно глазъ коня; за мокрымъ стекломъ безконечно льется мутная, пѣнная вода. Порою она, вскидываясь, лижетъ стекло. Я невольно прыгаю на полъ.

— Не бойся, — говоритъ бабушка и, легко приподнявъ меня мягкими руками, снова ставитъ на узлы.

Надъ водою — сѣрый, мокрый туманъ; далеко гдѣ-то является темная земля и снова исчезаетъ въ туманѣ и водѣ. Все вокругъ трясется. Только мать, закинувъ руки за голову, стоитъ, прислонясь къ стѣнѣ, твердо и неподвижно. Лицо у нея темное, желѣзное и слѣпое, глаза крѣпко закрыты, она все время молчитъ, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мнѣ.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поѣла чего, маленько, а?

Она молчитъ и неподвижна.

Бабушка говоритъ со мною шопотомъ, а съ матерью — громче, но какъ-то осторожно, робко и очень мало. Мнѣ кажется, что она боится матери. Это понятно мнѣ и очень сближаетъ съ бабушкой.

— Саратовъ, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Гдѣ же матросъ?

Вотъ и слова у нея странныя, чужія: Саратовъ, матросъ.

Вошелъ широкій сѣдой человѣкъ, одѣтый въ синее, принесъ маленькій ящикъ. Бабушка взяла его и стала укладывать тѣло брата, уложила и понесла къ двери на вытянутыхъ рукахъ, но, — толстая, — она могла пройти въ узенькую дверь каюты только бокомъ и смѣшно замялась передъ нею.

— Эхъ, мамаша, — крикнула мать, отняла у нея гробикъ, и обѣ онѣ исчезли, а я остался въ каютѣ, разглядывая синяго мужика.

— Что, братъ, отошелъ братишка-то? — сказалъ онъ, наклонясь ко мнѣ.

— Ты кто?

— Матросъ.

— А Саратовъ кто?

— Городъ. Гляди въ окно, вотъ онъ!

За окномъ двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманомъ, напоминая большой кусокъ хлѣба, только-что отрѣзанный отъ коровая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его въ землю зароютъ?

— А какъ же! Зароютъ.

Я разсказалъ матросу, какъ зарыли живыхъ лягушекъ, хороня отца. Онъ поднялъ меня на руки, тѣсно прижалъ къ себѣ и поцѣловалъ.

— Эхъ, братъ, ничего ты еще не понимаешь! — сказалъ онъ. — Лягушекъ жалѣть не надо, Господь съ ними! Мать пожалѣй, — вонъ какъ ее горе ушибло!

Надъ нами загудѣло, завыло. Я уже зналъ, что это пароходъ, и не испугался, а матросъ торопливо опустилъ меня на полъ и бросился вонъ, говоря:

— Надо бѣжать!

И мнѣ тоже захотѣлось убѣжать. Я вышелъ за дверь.

Въ полутемной узкой щели было пусто. Недалеко отъ двери блестѣла мѣдь на ступеняхъ лѣстницы. Взглянувъ наверхъ, я увидалъ людей съ котомками и узлами въ рукахъ. Было ясно, что всѣ уходятъ съ парохода, — значитъ, и мнѣ нужно уходить.

Но когда вмѣстѣ съ толпою мужиковъ я очутился у борта парохода, передъ мостками на берегъ, всѣ стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконецъ явился сѣдой матросъ и схватилъ меня, объяснивъ:

— Это астраханскій, изъ каюты...

Бѣгомъ онъ снесъ меня въ каюту, сунулъ на узлы и ушелъ, грозя пальцемъ:

— Я тебѣ задамъ!

Шумъ надъ головою становился все тише, пароходъ уже не дрожалъ и не бухалъ по водѣ. Окно каюты загородила какая-то мокрая стѣна; стало темно, душно, узлы точно распухли, стѣсняя меня, и все было нехорошо. Можетъ быть, меня такъ и оставятъ навсегда одного въ пустомъ пароходѣ?

Подошелъ къ двери. Она не отворяется, мѣдную ручку ея нельзя повернуть. Взявъ бутылку съ молокомъ, я со всею силой ударилъ по ручкѣ. Бутылка разбилась, молоко облило мнѣ ноги, натекло въ сапоги.

Огорченный неудачей, я легъ на узлы, заплакалъ тихонько и, въ слезахъ, уснулъ.

А когда проснулся, пароходъ снова бухалъ и дрожалъ, окно каюты горѣло, какъ солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашоптывая. Волосъ у нея было страшно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колѣни и лежали на полу, черные, отливая синимъ. Приподнимая ихъ съ пола одною рукою и держа на вѣсу, она съ трудомъ вводила въ толстыя

пряди деревянный рѣдкозубый гребень; губы ея кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо въ этой массѣ волосъ стало маленькимъ и смѣшнымъ.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросилъ, отчего у нея такіе длинные волосы, она сказала вчерашнимъ теплымъ и мягкимъ голосомъ:

— Видно, въ наказаніе Господь далъ, — расчеши-ка вотъ ихъ, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости кляну! А ты спи! Еще рано, — солнышко чуть только съ ночи поднялось...

— Не хочу ужъ спать!

— Ну, ино, не спи, — тотчасъ согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диванъ, гдѣ вверхъ лицомъ, вытянувшись струною, лежала мать. — Какъ это ты вчера бутыль-то раскокалъ? Тихонько говори!

Говорила она, какъ-то особенно выпѣвая слова, и они легко укрѣплялись въ памяти моей, похожія на цвѣты, такія же ласковыя, яркія, сочныя. Когда она улыбалась, ея темные, какъ вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо пріятнымъ свѣтомъ, улыбка весело обнажала бѣлые, крѣпкіе зубы, и, несмотря на множество морщинъ въ темной кожѣ щекъ, все лицо казалось молодымъ и свѣтлымъ. Очень портилъ его этотъ рыхлый носъ съ раздутыми ноздрями и красный на концѣ, — она нюхала табакъ изъ черной табакерки, украшенной серебромъ, и любила выпить. Вся она — темная, но свѣтилась изнутри — черезъ глаза — неугасимымъ, веселымъ и теплымъ свѣтомъ. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, какъ этотъ ласковый звѣрь.

До нея какъ будто спалъ я, спрятанный въ темнотѣ, но явилась она, разбудила, вывела на свѣтъ, связала все вокругъ меня въ непрерывную нить, сплела все въ разноцвѣтное кружево и сразу стала на всю жизнь другомъ,

самымъ близкимъ сердцу моему, самымъ понятнымъ и дорогимъ человѣкомъ, — это ея безкорыстная любовь къ міру обогатила меня, насытивъ крѣпкой силой для трудной жизни.

* *
*

Сорокъ лѣтъ назадъ пароходы плавали медленно; мы ѣхали до Нижняго очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщенія красотою.

Установилась хорошая погода; съ утра до вечера я съ бабушкой на палубѣ, подъ яснымъ небомъ, между позолоченныхъ осенью, шелками шитыхъ береговъ Волги. Не торопясь, лѣниво и гулко бухая плицами по сѣровато-синей водѣ, тянется вверхъ по теченію свѣтло-рыжій пароходъ, съ баржой на длинномъ буксирѣ. Баржа сѣрая и похожа на мокрицу. Незамѣтно плыветъ надъ Волгой солнце; каждый часъ все вокругъ ново, все мѣняется; зеленыя горы, какъ пышныя складки на богатой одеждѣ земли; по берегамъ стоятъ города и села, точно пряничные издали; золотой осенній листъ плыветъ по водѣ.

— Ты гляди, какъ хорошо-то! — ежеминутно говоритъ бабушка, переходя отъ борта къ борту, и вся сіяетъ, а глаза у нея радостно расширены.

Часто она, заглядѣвшись на берегъ, забывала обо мнѣ: стоитъ у борта, сложивъ руки на груди, улыбается и молчитъ, а на глазахъ слезы. Я дергаю ее за темную съ набойкой цвѣтами юбку.

— Ась? — встрепенется она. — А я будто задремала да сонъ вижу.

— А о чемъ плачешь?

— Это, милый, отъ радости да отъ старости, — говоритъ она, улыбаясь. — Я, вѣдь, ужъ старая, за шестой десятокъ лѣта-весны мои перекинулись-пошли.

И, понюхавъ табаку, начинаетъ разсказывать мнѣ какія-то диковинныя исторіи о добрыхъ разбойникахъ, о святыхъ людяхъ, о всякомъ звѣрьѣ и нечистой силѣ.

Сказки она сказываетъ тихо, таинственно, наклонясь къ моему лицу, заглядывая въ глаза мнѣ расширенными зрачками, точно вливая въ сердце мое силу, приподнимающую меня. Говоритъ, точно поетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ складнѣй звучатъ слова. Слушать ее невыразимо пріятно. Я слушаю, расту и прошу:

— Еще!

— А еще вотъ какъ было: сидитъ въ подпечкѣ старичекъ-домовой, занозилъ онъ себѣ лапу лапшой, качается, хныкаетъ: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Поднявъ ногу, она хватается за нее руками, качаетъ ее на вѣсу и смѣшно морщитъ лицо, словно ей самой больно.

Вокругъ стоятъ матросы, — бородатые ласковые мужики, — слушаютъ, смѣются, хвалятъ ее и тоже просятъ:

— А ну, бабушка, разскажи еще чего ни то!

Потомъ говорятъ:

— Айда ужинать съ нами!

За ужиномъ они угощаютъ ее водкой, меня — арбузами, дыней; это дѣлается скрытно: на пароходѣ ѣдетъ человѣкъ, который запрещаетъ ѣсть фрукты, отнимаетъ ихъ и выбрасываетъ въ рѣку. Онъ одѣтъ похоже на будочника и всегда пьяный; люди прячутся отъ него.

Мать рѣдко выходитъ на палубу и держится въ сторонѣ отъ насъ. Она все молчитъ, мать. Ея большое, стройное тѣло, темное, желѣзное лицо, тяжелая корона заплетенныхъ въ косы свѣтлыхъ волосъ, — вся она мощная и твердая, — вспоминаются мнѣ, какъ-бы сквозь туманъ или прозрачное облако; изъ него отдаленно и непривѣтливо смотрятъ прямые сѣрые глаза, такіе же большіе, какъ у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смѣются люди надъ вами, мамаша!

— А Господь съ ними! — беззаботно отвѣтила бабушка. — А пускай смѣются, на доброе имъ здоровье!

Помню дѣтскую радость бабушки при видѣ Нижняго. Дергая за руку, она толкала меня къ борту и кричала:

— Гляди, гляди, какъ хорошо! Вотъ онъ, батюшка, Нижній-то! Вотъ онъ какой, Боговъ! Церкви-те, гляди-ка ты, летятъ будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла, вѣдь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась короткой улыбкой.

Когда пароходъ остановился противъ красиваго города, среди рѣки, тѣсно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острыхъ мачтъ, къ борту его подплыла большая лодка со множествомъ людей, подцѣпилась багромъ къ спущенному трапу, и одинъ за другимъ люди изъ лодки стали подниматься на палубу. Впереди всѣхъ быстро шелъ небольшой сухонькій старичокъ, въ черномъ длинномъ одѣяніи, съ рыжей, какъ золото, бородкой, съ птичьимъ носомъ и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а онъ, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ея маленькими красными руками, кричалъ, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вотъ... Эхъ, вы-и...

Бабушка обнимала и цѣловала какъ-то сразу всѣхъ, вертясь, какъ винтъ; она толкала меня къ людямъ и говорила торопливо:

— Ну, скорѣе! Это — дядя Михайло, это — Яковъ... Тетка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вотъ сколько!

Дѣдушка сказалъ ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцѣловались.

Дѣдъ выдернулъ меня изъ тѣсной кучи людей и спросилъ, держа за голову:

— Ты чей таковъ будешь?

— Астраханскій, изъ каюты...

— Чего онъ говоритъ? — обратился дѣдъ къ матери и, не дождавшись отвѣта, отодвинулъ меня, сказавъ:

— Скулы-те отцовы... Слѣзайте въ лодку!

Съѣхали на берегъ и толпой пошли въ гору, по съѣзду, мощенному крупнымъ булыжникомъ, между двухъ высокихъ откосовъ, покрытыхъ жухлой, примятой травой.

Дѣдъ съ матерью шли впереди всѣхъ. Онъ былъ ростомъ подъ руку ей, шагалъ мелко и быстро, а она, глядя на него сверху внизъ, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаилъ, сухой, какъ дѣдъ; свѣтлый и кудрявый Яковъ, какія-то толстыя женщины въ яркихъ платьяхъ и человѣкъ шесть дѣтей, всѣ старше меня и всѣ тихіе. Я шелъ съ бабушкой и маленькой теткой Натальей. Блѣдная, голубоглазая, съ огромнымъ животомъ, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На што они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!

И взрослые, и дѣти всѣ не понравились мнѣ, я чувствовалъ себя чужимъ среди нихъ, даже и бабушка какъ-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мнѣ дѣдъ; я сразу почуялъ въ немъ врага, и у меня явилось особенное вниманіе къ нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съѣзда. На самомъ верху его, прислонясь къ правому откосу и начиная собою улицу, стоялъ приземистый одноэтажный домъ, окрашенный грязно-розовой краской, съ нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. Съ улицы онъ показался

мнѣ большимъ, но внутри его, въ маленькихъ, полутемныхъ комнатахъ, было тѣсно; вездѣ, какъ на пароходѣ передъ пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватыхъ воробьевъ метались ребятишки, и всюду стоялъ ѣдкій, незнакомый запахъ.

Я очутился на дворѣ. Дворъ былъ тоже непріятный: весь завѣшанъ огромными мокрыми тряпками, заставленъ чанами съ густой разноцвѣтной водою. Въ ней тоже мокли тряпицы. Въ углу, въ низенькой полуразрушенной пристройкѣ, жарко горѣли дрова въ печи, что-то кипѣло, булькало, и невидимый человѣкъ громко говорилъ странныя слова:

— Сандалъ — фуксинъ — купоросъ...

II.

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мнѣ, какъ суровая сказка, хорошо разсказанная добрымъ, но мучительно правдивымъ геніемъ. Теперь, оживляя прошлое, я самъ порою съ трудомъ вѣрю, что все было именно такъ, какъ было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишкомъ обильна жестокостью темная жизнь «неумнаго племени».

Но правда выше жалости, и, вѣдь, не про себя я разсказываю, а про тотъ тѣсный, душный кругъ жуткихъ впечатлѣній, въ которомъ жилъ, — да и по сей день живетъ, — простой русскій человѣкъ.

Домъ дѣда былъ наполненъ горячимъ туманомъ взаимной вражды всѣхъ со всѣми; она отравляла взрослыхъ, и даже дѣти принимали въ ней живое участіе. Впослѣдствіи изъ разсказовъ бабушки я узналъ, что мать пріѣхала какъ разъ въ тѣ дни, когда ея братья настойчиво требовали у отца раздѣла имущества. Неожиданное возвращеніе матери еще болѣе обострило и усилило ихъ желаніе выдѣлиться. Они боялись, что моя мать потребуетъ приданаго, назначеннаго ей, но удержаннаго дѣдомъ, потому что она вышла замужъ «самокруткой», противъ его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть подѣлено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили другъ съ другомъ о томъ, кому открыть мастерскую въ городѣ, кому — за Окой, въ слободѣ Кунавинѣ.

Уже вскорѣ послѣ пріѣзда, въ кухнѣ во время обѣда вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь черезъ столъ, стали выть и рычать на дѣдушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, какъ собаки, а дѣдъ, стуча ложкой по столу, покраснѣлъ весь и звонко, — пѣтухомъ, — закричалъ:

— По міру пущу!

Болѣзненно искрививъ лицо, бабушка говорила:

— Отдай имъ все, отецъ, — спокойнѣй тебѣ будетъ, отдай!

— Цыцъ, потатчица! — кричалъ дѣдъ, сверкая глазами, и было странно, что, маленькій такой, онъ можетъ кричать столь оглушительно.

Мать встала изъ-за стола и, не торопясь отойдя къ окну, повернулась ко всѣмъ спиною.

Вдругъ дядя Михаилъ ударилъ брата наотмашь по лицу; тотъ взвылъ, сцѣпился съ нимъ, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дѣти, отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взявъ въ охапку; веселая, рябая нянька Евгенья выгоняла изъ кухни дѣтей; падали стулья; молодой широкоплечій подмастерье Цыганокъ сѣлъ верхомъ на спину дяди Михаила, а мастеръ Григорій Ивановичъ, плѣшивый, бородатый человѣкъ, въ темныхъ очкахъ, спокойно связывалъ руки дяди полотенцемъ.

Вытянувъ шею, дядя терся рѣдкой черной бородою по полу и хрипѣлъ страшно, а дѣдушка, бѣгая вокругъ стола, жалобно вскрикивалъ:

— Братья, а! Родная кровь! Эхъ, вы-и...

Я еще въ началѣ ссоры, испугавшись, вскочилъ на печь и оттуда въ жуткомъ изумленіи смотрѣлъ, какъ бабушка смываетъ водою изъ мѣднаго рукомойника кровь съ разбитаго лица дяди Якова; онъ плакалъ и топалъ ногами, а она говорила тяжелымъ голосомъ:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дѣдъ, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричалъ ей:

— Что, вѣдьма, народила звѣрья?

Когда дядя Яковъ ушелъ, бабушка сунулась въ уголъ, потрясающе воя:

— Пресвятая Мати Божія, верни разумъ дѣтямъ моимъ!

Дѣдъ всталъ бокомъ къ ней и, глядя на столъ, гдѣ все было опрокинуто, пролито, тихо проговорилъ:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведутъ, чего добраго...

— Полно, Богъ съ тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжавъ его голову ладонями, она поцѣловала дѣда въ лобъ; онъ же, — маленькій противъ нея, — ткнулся лицомъ въ плечо ей:

— Надо, видно, дѣлиться, мать...

— Надо, отецъ, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потомъ дѣдъ началъ шаркать ногой по полу, какъ пѣтухъ передъ боемъ, грозилъ бабушкѣ пальцемъ и громко шепталъ:

— Знаю я тебя, ты ихъ больше любишь! А Мишка твой — езуитъ, а Яшка — фармазонъ! И пропьютъ они добро мое, промотаютъ...

Неловко повернувшись на печи, я свалилъ утюгъ; загремѣвъ по ступенямъ влаза, онъ шлепнулся въ лахань съ помоями. Дѣдъ впрыгнулъ на ступень, стащилъ меня и сталъ смотрѣть въ лицо мнѣ такъ, какъ будто видѣлъ меня впервые.

— Кто тебя посадилъ на печь? Мать?

— Я самъ.

— Врешь.

— Нѣтъ, самъ. Я испугался.

Онъ оттолкнулъ меня, легонько ударивъ ладонью въ лобъ.

— Весь въ отца! Пошелъ вонъ...

Я былъ радъ убѣжать изъ кухни.

* * *

Я хорошо видѣлъ, что дѣдъ слѣдитъ за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мнѣ всегда хотѣлось спрятаться отъ этихъ обжигающихъ глазъ. Мнѣ казалось, что дѣдъ злой; онъ со всѣми говоритъ насмѣшливо, обидно, подзадоривая и стараясь разсердить всякаго.

— Эхъ, вы-и! — часто восклицалъ онъ; долгій звукъ «и-и» всегда вызывалъ у меня скучное, зябкое чувство.

Въ часъ отдыха, во время вечерняго чая, когда онъ, дядья и работники приходили въ кухню изъ мастерской, усталые, съ руками, окрашенными сандаломъ, обожженными купоросомъ, съ повязанными тесемкой волосами, всѣ похожіе на темныя иконы въ углу кухни, — въ этотъ опасный часъ дѣдъ садился противъ меня и, вызывая зависть другихъ внуковъ, разговаривалъ со мною чаще, чѣмъ съ ними. Весь онъ былъ складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилетъ былъ старъ, вытертъ, ситцевая рубаха измята, на колѣняхъ штановъ красовались большія заплаты, а все-таки онъ казался одѣтымъ и чище, и красивѣй сыновей, носившихъ пиджаки, манишки и шелковыя косынки на шеяхъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда онъ заставилъ меня учить молитвы. Всѣ другіе дѣти были старше и уже учились грамотѣ у дьячка Успенской церкви; золотыя главы ея были видны изъ оконъ дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина съ дѣтскимъ личикомъ и такими прозрачными гла-

зами, что, мнѣ казалось, сквозь нихъ можно было видѣть все сзади ея головы.

Я любилъ смотрѣть въ глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертѣла головою и просила тихонько, почти шопотомъ:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче нашъ, иже если...»

И если я спрашивалъ: «Что такое яко же?» — она, пугливо оглянувшись, совѣтовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче нашъ»... Ну?

Меня безпокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смыслъ, и я нарочно всячески искажалъ его:

— «Яковъ же», «я въ кожѣ»...

Но блѣдная, словно тающая тетка терпѣливо поправляла голосомъ, который все прерывался у нея:

— Нѣтъ, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она, и всѣ ея слова были не просты. Это раздражало меня, мѣшая запомнить молитву.

Однажды дѣдъ спросилъ:

— Ну, Олешка, чего сегодня дѣлалъ? Игралъ? Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость, желвакъ нажить! А «Отче нашъ» заучилъ?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дѣдъ усмѣхнулся, весело приподнявъ рыжія брови.

— А коли такъ, — высѣчь надо!

И снова спросилъ меня:

— Тебя отецъ сѣкъ?

Не понимая, о чемъ онъ говоритъ, я промолчалъ, а мать сказала:

— Нѣтъ, Максимъ не билъ его, да и мнѣ запретилъ.

— Это почему же?

— Говорилъ, битьемъ не выучишь.

— Дуракъ онъ былъ во всемъ, Максимъ этотъ, покойникъ, прости, Господи! — сердито и четко проговорилъ дѣдъ.

Меня обидѣли его слова. Онъ замѣтилъ это.

— Ты что губы надулъ? Ишь ты...

И, погладивъ серебристо-рыжiе волосы на головѣ, онъ прибавилъ:

— А я вотъ въ субботу Сашку пороть буду.

— Какъ это пороть? — спросилъ я.

Всѣ засмѣялись, а дѣдъ сказалъ:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображалъ: поротъ — значитъ расшивать платья, отданныя въ краску, а сѣчь и бить — одно и то же, видимо. Бьютъ лошадей, собакъ, кошекъ; въ Астрахани будочники бьютъ персiянъ, — это я видѣлъ. Но я никогда не видалъ, чтобъ такъ били маленькихъ, и хотя здѣсь дядья щелкали своихъ то по лбу, то по затылку, — дѣти относились къ этому равнодушно, только почесывая ушибленное мѣсто. Я не однажды спрашивалъ ихъ:

— Больно?

И всегда они храбро отвѣчали:

— Нѣтъ, нисколечко!

Шумную исторiю съ наперсткомъ я зналъ. Вечерами, отъ чая до ужина, дядья и мастеръ сшивали куски окрашенной матерiи въ одну «штуку» и пристегивали къ ней картонные ярлыки. Желая пошутить надъ полуслѣпымъ Григорiемъ, дядя Михаилъ велѣлъ девятилѣтнему племяннику накалить на огнѣ свѣчи наперстокъ мастера. Саша сажалъ наперстокъ щипцами для нагара со свѣчъ, сильно накалилъ его и, незамѣтно подложивъ подъ руку Григорiя, спрятался за печку, но какъ разъ въ этотъ моментъ пришелъ дѣдушка, сѣлъ за работу и самъ сунулъ палецъ въ каленый наперстокъ.

Помню, когда я прибѣжалъ въ кухню на шумъ, дѣдъ,

схвативши́сь за ухо обожжеными пальцами, смѣшно прыгалъ и кричалъ:

— Чье дѣло, басурмане?

Дядя Михаилъ, согнувшись надъ столомъ, гонялъ наперстокъ пальцемъ и дулъ на него; мастеръ невозмутимо шилъ; тѣни прыгали по его огромной лысинѣ; прибѣжалъ дядя Яковъ и, спрятавшись за уголъ печи, тихонько смѣялся тамъ; бабушка терла на теркѣ сырой картофель.

— Это Сашка Якововъ устроилъ! — вдругъ сказалъ дядя Михаилъ.

— Врешь, — крикнулъ Яковъ, выскочивъ изъ-за печи.

А гдѣ-то въ углу его сынъ плакалъ и кричалъ:

— Папа, не вѣрь. Онъ самъ меня научилъ!

Дядья начали ругаться. Дѣдъ же сразу успокоился, приложилъ къ пальцу тертый картофель и молча ушелъ, захвативъ съ собой меня.

Всѣ говорили, виноватъ дядя Михаилъ. Естественно, что я спросилъ, будутъ ли его сѣчь и пороть.

— Надо бы, — проворчалъ дѣдъ, искоса взглянувъ на меня.

Дядя Михаилъ, ударивъ по столу рукою, крикнулъ матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И всѣ замолчали.

Она умѣла говорить краткія слова какъ-то такъ, точно отталкивала ими людей отъ себя, отбрасывала ихъ, и они умалялись.

Мнѣ было ясно, что всѣ боятся матери; даже самъ дѣдушка говорилъ съ нею не такъ, какъ съ другими, — тише. Это было пріятно мнѣ, и я съ гордостью хвастался передъ братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось въ субботу, надорвало мое отношеніе къ матери.

* *
*

До субботы я тоже успѣлъ провиниться.

Меня очень занимало, какъ ловко взрослые измѣняютъ цвѣта матерій: берутъ желтую, мочатъ ее въ черной водѣ, и матерія дѣлается густо-синей — «кубовой»; полощутъ сѣрое въ рыжей водѣ, и оно становится красноватымъ — «бордо». Просто, а непонятно.

Мнѣ захотѣлось самому окрасить что-нибудь, и я сказалъ объ этомъ Сашѣ Яковову, серьезному мальчику; онъ всегда держался на виду у взрослыхъ, со всѣми ласковый, готовый всѣмъ и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушаніе, за умъ, но дѣдушка смотрѣлъ на Сашу искоса и говорилъ:

— Экой подхалимъ!

Худенькій, темный, съ выпученными, рачьими глазами, Саша Якововъ говорилъ торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бѣжать куда-то, спрятаться. Каріе зрачки его были неподвижны, но когда онъ возбуждался, дрожали вмѣстѣ съ бѣлками.

Онъ былъ непріятенъ мнѣ. Мнѣ гораздо больше нравился малозамѣтный увалень Саша Михаиловъ, мальчикъ тихій, съ печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожій на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и въ верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; онъ постоянно держалъ во рту пальцы, раскачивая, пытаясь, выдернуть зубы задняго ряда, и покорно позволялъ щупать ихъ каждому, кто желалъ. Но ничего болѣе интереснаго

я не находилъ въ немъ. Въ домѣ, биткомъ-набитомъ людьми, онъ жилъ одиноко, любилъ сидѣть въ полутемныхъ углахъ, а вечеромъ у окна. Съ нимъ хорошо было молчать, сидѣть у окна, тѣсно прижавшись къ нему, и молчать цѣлый часъ, глядя, какъ въ красномъ вечернемъ небѣ вокругъ золотыхъ луковицъ Успенскаго храма вьются-мечутся черныя галки, взмываютъ высоко вверхъ, падаютъ внизъ, и, вдругъ покрывъ угасающее небо черною сѣтью, исчезаютъ куда-то, оставивъ за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чемъ не хочется, и пріятная скука наполняетъ грудь.

А Саша дяди Якова могъ обо всемъ говорить много и солидно, какъ взрослый. Узнавъ, что я желаю заняться ремесломъ красильщика, онъ посовѣтовалъ мнѣ, взять изъ шкапа бѣлую праздничную скатерть и окрасить ее въ синій цвѣтъ.

— Бѣлое всего легче красится, ужъ я знаю! — сказалъ онъ очень серьезно.

Я вытащилъ тяжелую скатерть, выбѣжалъ съ нею на дворъ, но когда опустилъ край ея въ чанъ съ «кубовой», на меня налетѣлъ откуда-то Цыганокъ, вырвалъ скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнулъ брату, слѣдившему изъ сѣней за моею работой:

— Зови бабушку скорѣе!

И, зловѣще качая черной, лохматой головою, сказалъ мнѣ:

— Ну, и попадетъ же тебѣ за это!

Прибѣжала бабушка, заохала, даже заплакала, смѣшно ругая меня:

— Ахъ ты, пермякъ, солены уши! Чтобъ те приподняло да шлепнуло!

Потомъ стала уговаривать Цыганка:

— Ужъ ты, Ваня, не сказывай дѣдушкѣ-то! Ужъ я спрячу дѣло; авось, обойдется какъ-нибудь...

Ванька озабоченно говорилъ, вытирая мокрыя руки разноцвѣтнымъ передникомъ:

— Мнѣ что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничалъ бы!

— Я ему семишникъ дамъ, — сказала бабушка, уводя меня въ домъ.

Въ субботу, передъ всенощной, кто-то привелъ меня въ кухню; тамъ было темно и тихо. Помню плотно прикрытыя двери въ сѣни и въ комнаты, а за окнами сѣрую муть осенняго вечера, шорохъ дождя. Передъ чернымъ челомъ печи на широкой скамьѣ сидѣлъ сердитый, не похожій на себя Цыганокъ; дѣдушка, стоя въ углу у лахани, выбиралъ изъ ведра съ водою длинные прутья, мѣрялъ ихъ, складывая одинъ съ другимъ, и со свистомъ размахивалъ ими по воздуху. Бабушка, стоя гдѣ-то въ темнотѣ, громко нюхала табакъ и ворчала:

— Ра-адъ... мучитель...

Саша Якововъ, сидя на стулѣ среди кухни, теръ кулаками глаза и не своимъ голосомъ, точно старенькій нищій, тянулъ:

— Простите Христа ради...

Какъ деревянные, стояли за стуломъ дѣти дяди Михаила, братъ и сестра, плечомъ къ плечу.

— Высѣку, — прощу, — сказалъ дѣдушка, пропуская длинный влажный прутъ сквозь кулакъ. — Ну-ка, снимай штаны-то!...

Говорилъ онъ спокойно, и ни звукъ его голоса, ни возня мальчика на скрипучемъ стулѣ, ни шарканье ногъ бабушки, — ничто не нарушало памятной тишины въ сумракѣ кухни, подъ низкимъ закопченнымъ потолкомъ.

Саша всталъ, разстегнулъ штаны, спустилъ ихъ до колѣнъ и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошелъ къ скамьѣ. Смотрѣть, какъ онъ идетъ, было нехорошо, и у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда онъ покорно легъ на ска-

мью внизъ лицомъ, а Ванька, привязавъ его къ скамьѣ подъ-мышки и за шею широкимъ полотенцемъ, наклонился надъ нимъ и схватилъ черными руками ноги его у щиколотокъ.

— Лексѣй, — позвалъ дѣдъ, — иди ближе!... Ну, кому говорю?... Вотъ гляди, какъ сѣкутъ... Разъ!...

Невысоко взмахнувъ рукой, онъ хлопнулъ прутомъ по голому тѣлу. Саша взвизгнулъ.

— Врешь, — сказалъ дѣдъ, — это не больно! А вотъ эдакъ больнѣй!

И ударилъ такъ, что на тѣлѣ сразу загорѣлась, вспухла красная полоса, а братъ протяжно завылъ.

— Не сладко? — спрашивалъ дѣдъ, равномѣрно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперстокъ!

Когда онъ взмахивалъ рукой, въ груди у меня все поднималось вмѣстѣ съ нею; падала рука, — и я весь точно падалъ.

Саша визжалъ страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Вѣдь, я же сказалъ про скатерть... Вѣдь, я сказалъ...

Спокойно, точно псалтирь читая, дѣдъ говорилъ:

— Доносъ — не оправданье! Доносчику первый кнутъ. Вотъ тебѣ за скатерть!

Бабушка кинулась ко мнѣ и схватила меня на руки, закричавъ:

— Лексѣя не дамъ! Не дамъ, извергъ!

Она стала бить ногою въ дверь, призывая:

— Варя, Варвара!...

Дѣдъ бросился къ ней, сшибъ ее съ ногъ, выхватилъ меня и понесъ къ лавкѣ. Я бился въ рукахъ у него, дергалъ рыжую бороду, укусилъ ему палецъ. Онъ оралъ, тискалъ меня и, наконецъ, бросилъ на лавку, разбивъ мнѣ лицо. Помню дикій его крикъ:

— Привязывай! Убью!...

Помню бѣлое лицо матери и ея огромные глаза. Она бѣгала вдоль лавки и хрипѣла:

— Папаша, не надо!... Отдайте...

* * *

Дѣдъ засѣкъ меня до потери сознанія, и нѣсколько дней я хворалъ, валяясь вверхъ спиною на широкой жаркой постели въ маленькой комнатѣ съ однимъ окномъ и красной, неугасимой лампадой въ углу предъ кіотомъ со множествомъ иконъ.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. Въ теченіе ихъ я, должно быть, сильно выросъ и почувствовалъ что-то особенное. Съ тѣхъ дней у меня явилось безпокойное вниманіе къ людямъ, и, точно мнѣ содрали кожу съ сердца, оно стало невыносимо чуткимъ ко всякой обидѣ и боли своей и чужой.

Прежде всего, меня очень поразила ссора бабушки съ матерью: въ тѣснотѣ комнаты бабушка, черная и большая, лѣзла на мать, заталкивая ее въ уголъ, къ образамъ, и шипѣла:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!...

— Отстаньте, мамаша: тошно мнѣ...

— Нѣтъ, не любишь ты его, не жаль тебѣ сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потомъ онѣ обѣ долго плакали, сидя въ углу на сундукѣ, и мать говорила:

— Если бы не Алексѣй, ушла бы я, уѣхала! Не могу жить въ аду этомъ, не могу, мамаша! Силъ нѣтъ...

— Кровь ты моя, сердце мое, — шептала бабушка.

Я запомнилъ: мать — не сильная; она, какъ всѣ,

боится дѣда. Я мѣшаю ей уйти изъ дома, гдѣ она не можетъ жить. Это было очень грустно. Вскорѣ мать, дѣйствительно, исчезла изъ дома. Уѣхала куда-то гостить.

Какъ-то вдругъ, точно съ потолка спрыгнувъ, явился дѣдушка, сѣлъ на кровать, пощупалъ мнѣ голову холодной, какъ ледъ, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты отвѣть, не сердись!... Ну, что ли?...

Очень хотѣлось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Онъ казался еще болѣе рыжимъ, чѣмъ былъ раньше; голова его безпокойно качалась; яркіе глаза искали чего-то на стѣнѣ. Вынувъ изъ кармана пряничнаго козла, два сахарныхъ рожка, яблоко и вѣтку синяго изюма, онъ положилъ все это на подушку, къ носу моему.

— Вотъ, видишь, я тебѣ гостинца принесъ!

Нагнувшись, поцѣловалъ меня въ лобъ; потомъ заговорилъ, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной въ желтый цвѣтъ, особенно замѣтный на кривыхъ, птичьихъ ногтяхъ.

— Я тебя тогда перетово, братъ. Разгорячился очень; укусилъ ты меня, царапалъ, ну, и я тоже разсердился! Однако, не бѣда, что ты лишнее перетерпѣлъ, — въ зачетъ пойдетъ! Ты знай: когда свой, родной бьетъ, — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, такъ били, что ты этого и въ страшномъ снѣ не увидишь. Меня такъ обижали, что, поди-ка, самъ Господь Богъ глядѣлъ — плакалъ! А что вышло? Сирота, нищей матери сынъ, я вотъ дошелъ до своего мѣста, — старшиной цеховымъ сдѣланъ, начальникъ людямъ.

Привалившись ко мнѣ сухимъ, складнымъ тѣломъ, онъ сталъ разсказывать о дѣтскихъ своихъ дняхъ словами крѣпкими и тяжелыми, складывая ихъ одно съ другимъ легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорѣлись, и, весело ощетинившись золотымъ волосомъ, сгустивъ высокій свой голосъ, онъ трубилъ въ лицо мнѣ:

— Ты вотъ пароходомъ прибылъ, паръ тебя везъ, а я въ молодости самъ, своей силой супротивъ Волги баржи тянулъ. Баржа — по водѣ, я — по бережку, босъ, по острому камню, по осыпямъ, да такъ отъ восхода солнца до ночи! Накалитъ солнышко затылокъ-то, голова какъ чугунъ кипитъ, а ты, согнувшись въ три погибели, — косточки скрипятъ, — идешь да идешь, и пути не видать, глаза пóтомъ залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эхъ-ма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да изъ лямки-то и вывалишься, мордой въ землю — и тому радъ; стало-быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вотъ какъ жили у Бога на глазахъ, у милостиваго Господа Исуса Христа!... Да такъ-то я трижды Волгу-мать вымѣрялъ: отъ Симбирскаго до Рыбинска, отъ Саратова досюдова, да отъ Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — въ этомъ многія тысячи верстъ. А на четвертый годъ ужъ и водоливомъ пошелъ, — показалъ хозяину разумъ свой!...

Говорилъ онъ и быстро, какъ облако, росъ предо мною, превращаясь изъ маленькаго, сухого старичка въ человѣка силы сказочной, — онъ одинъ ведетъ противъ рѣки огромную, сѣрую баржу...

Иногда онъ соскакивалъ съ постели и, размахивая руками, показывалъ мнѣ, какъ ходятъ бурлаки въ лямкахъ, какъ откачиваютъ воду; пѣлъ баскомъ какія-то пѣсни, потомъ снова молодо прыгалъ на кровать и, весь удивительный, еще болѣе густо, крѣпко говорилъ:

— Ну, зато, Олёша, на привалѣ, на отдыхѣ, лѣтнимъ вечеромъ въ Жигуляхъ, гдѣ-нибудь, подъ зеленой горой, поразложимъ, бывало-че, костры — кашицу варить, да какъ заведетъ горевой бурлакъ сердечную пѣсню, да какъ вступится, грянетъ вся артель, — ажъ морозъ по

кожѣ дернетъ, и будто Волга вся быстрѣй пойдетъ, — такъ бы, чай, конемъ и встала на дыбы, до самыхъ облаковъ! И всякое горе — какъ пыль по вѣтру; до того люди запѣвались, что, бывало, и каша вонъ изъ котла бѣжитъ; тутъ кашевара по лбу половникомъ надо бить: играй, какъ хошь, а дѣло помни!

Нѣсколько разъ въ дверь заглядывали, звали его, но я просилъ:

— Не уходи!

Онъ, усмѣхаясь, отмахивался отъ людей:

— Погодите тамъ...

Разсказывалъ онъ вплоть до вечера, и когда ушелъ, ласково простясь со мной, я зналъ, что дѣдушка не злой и не страшенъ. Мнѣ до слезъ трудно было вспоминать, что это онъ такъ жестоко избилъ меня, но и забыть объ этомъ я не могъ.

Посѣщеніе дѣда широко открыло дверь для всѣхъ, и съ утра до вечера кто-нибудь сидѣлъ у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще другихъ бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатлѣніе этихъ дней далъ мнѣ Цыганокъ. Квадратный, широкогрудый, съ огромной кудрявой головой, онъ явился подъ вечеръ, празднично одѣтый въ золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучіе сапоги гармоникой. Блестѣли его волосы, сверкали раскосые веселые глаза подъ густыми бровями и бѣлые зубы подъ черной полоской молодыхъ усовъ, горѣла рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.

— Ты глянь-ка, — сказалъ онъ, приподнявъ рукавъ, показывая мнѣ голую руку до локтя въ красныхъ рубцахъ, — вонъ какъ разнесло! Да еще хуже было, зажило много!

— Чуешь ли: какъ вошелъ дѣдъ въ ярость, и вижу,

запоретъ онъ тебя, такъ началъ я руку эту подставлять, ждалъ — переломится прутъ, дѣдушка-то отойдетъ за другимъ, а тебя и утащатъ бабаня али мать! Ну, прутъ не переломился, гибокъ, моченый! А все-таки тебѣ меньше попало, — видишь, насколько? Я, братъ, жуликоватый!...

Онъ засмѣялся шолковымъ, ласковымъ смѣхомъ, снова разглядывая вспухшую руку, и, смѣясь, говорилъ:

— Такъ жаль стало мнѣ тебя, ажъ горло перехватываетъ, чую! Бѣда! А онъ хлещетъ...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, онъ сталъ говорить что-то про дѣла; сразу близкій мнѣ, дѣтски простой.

Я сказалъ ему, что очень люблю его, — онъ незабвенно-просто отвѣтилъ:

— Такъ, вѣдь, и я тебя тоже люблю, — за то и боль принялъ, за любовь! Али я сталъ бы за другого за кого? Наплевать мнѣ...

Потомъ онъ училъ меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сѣчь будутъ, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тѣло-то, — чуешь? Вдвойнѣ больнѣй, когда тѣло сожмешь, а ты распусти его свободно, чтобъ оно мягко было, — киселемъ лежи! И не надувайся, дыши во-всю, кричи благимъ матомъ, — ты это помни, это хорошо!

Я спросилъ:

— Развѣ еще сѣчь будутъ?

— А какъ же? — спокойно сказалъ Цыганокъ. — Конешно, будутъ. Тебя, поди-ка, часто будутъ драть...

— За что?

— Ужъ дѣдушка сыщетъ...

И снова озабоченно сталъ учить:

— Коли онъ сѣчетъ съ навѣса, просто сверху кладетъ лозу, — ну, тутъ лежи спокойно, мягко; а ежели

онъ съ оттяжкой сѣчетъ, — ударитъ да къ себѣ потянетъ лозину, чтобы кожу снять, — такъ и ты виляй тѣломъ къ нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнувъ темнымъ, косымъ глазомъ, онъ сказалъ:

— Я въ этомъ дѣлѣ умнѣе самого квартальнаго. У меня, братъ, изъ кожи хоть голицы шей!

Я смотрѣлъ на его веселое лицо и вспоминалъ бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

———

III.

Когда я выздоровѣлъ, мнѣ стало ясно, что Цыганокъ занимаетъ въ домѣ особенное мѣсто: дѣдушка кричалъ на него не такъ часто и сердито, какъ на сыновей, а за глаза говорилъ о немъ, жмурясь и покачивая головою:

— Золотыя руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не малъ человѣкъ растетъ!

Дядья тоже обращались съ Цыганкомъ ласково, дружески и никогда не «шутили» съ нимъ, какъ съ мастеромъ Григоріемъ, которому они почти каждый вечеръ устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагрѣютъ на огнѣ ручки ножницъ, то воткнутъ въ сидѣнье его стула гвоздь вверхъ остріемъ или подложатъ, полуслѣпому, разноцвѣтные куски матеріи, онъ сошьетъ ихъ въ одну «штуку», и дѣдушка ругаетъ его за это.

Однажды, когда онъ спалъ послѣ обѣда въ кухнѣ на полатяхъ, ему накрасили лицо фуксиномъ, и долго онъ ходилъ смѣшной, страшный: изъ сѣрой бороды тускло смотрятъ два круглыхъ пятна очковъ, и уныло опускается длинный багровый носъ, похожій на языкъ.

Они были неистощимы въ такихъ выдумкахъ, но мастеръ все сносилъ молча, только крякалъ тихонько да прежде, чѣмъ дотронуться до утюга, ножницъ, щипцовъ или наперстка, обильно смачивалъ пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обѣдомъ, передъ тѣмъ, какъ взять ножъ или вилку, онъ муслилъ пальцы, возбуждая смѣхъ дѣтей. Когда ему было больно, на его боль-

шомъ лицѣ являлась волна морщинъ и, странно скользнувъ по лбу, приподнявъ брови, пропадала гдѣ-то на голомъ черепѣ.

Не помню, какъ относился дѣдъ къ этимъ забавамъ сыновей, но бабушка грозила имъ кулакомъ и кричала:

— Безстыжія рожи, злыдни!

Но и о Цыганкѣ за глаза дядья говорили сердито, насмѣшливо, порицали его работу, ругали воромъ и лѣнтяемъ.

Я спросилъ бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, какъ всегда, она объяснила мнѣ:

— А видишь ты, обоимъ хочется Ванюшку себѣ взять, когда у нихъ свои-то мастерскія будутъ, вотъ они другъ передъ другомъ и хаютъ его: дескать, плохой работникъ! Это они врутъ, хитрятъ. А еще боятся, что не пойдетъ къ нимъ Ванюшка, останется съ дѣдомъ, а дѣдъ своенравный, онъ и третью мастерскую съ Иванкой завести можетъ, — дядьямъ-то это невыгодно будетъ, понялъ?

Она тихонько засмѣялась:

— Хитрятъ все, Богу на смѣхъ. Ну, а дѣдушка хитрости эти видитъ да нарочно дразнитъ Яшу съ Мишей: «Куплю, — говоритъ, — Ивану рекрутскую квитанцію, чтобы его въ солдаты не забрали: мнѣ онъ самому нуженъ!» А они сердятся, имъ этого не хочется, и денегъ жаль, — квитанція-то дорогая!

Теперь я снова жилъ съ бабушкой, какъ на пароходѣ, каждый вечеръ передъ сномъ она разсказывала мнѣ сказки или свою жизнь, тоже подобную сказкѣ. А про дѣловую жизнь семьи, — о выдѣлѣ дѣтей, о покупкѣ дѣдомъ новаго дома для себя, — она говорила посмѣиваясь, отчужденно, какъ-то издали, точно сосѣдка, а не вторая въ домѣ по старшинству.

Я узналъ отъ нея, что Цыганокъ — подкидышъ; ран-

нею весной, въ дождливую ночь, его нашли у воротъ дома на лавкѣ.

— Лежитъ, въ запонъ обернутъ, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискиваетъ, закоченѣлъ ужъ.

— А зачѣмъ подкидываютъ дѣтей?

— Молока у матери нѣтъ, кормить нечѣмъ; вотъ она узнаетъ, гдѣ недавно дитя родилось да померло, и подсунетъ туда своего-то.

Помолчавъ, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя въ потолокъ.

— Бѣдность все, Олеша; такая бываетъ бѣдность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя дѣвица не смѣй родить, — стыдно-де! Дѣдушка хотѣлъ было Ванюшку-то въ полицію нести, да я отговорила: возьмемъ, молъ, себѣ; это Богъ намъ послалъ въ тѣхъ мѣсто, которые померли. Вѣдь, у меня восемнадцать было рожено; кабы всѣ жили, — цѣлая улица народу, восемнадцать-то домовъ! Я, гляди, на четырнадцатомъ году замужъ отдана, а къ пятнадцати ужъ и родила; да вотъ полюбилъ Господь кровь мою, все бралъ да и бралъ ребятишекъ моихъ въ ангелы. И жалко мнѣ, а и радостно!

Сидя на краю постели въ одной рубахѣ, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медвѣдицу, которую недавно приводилъ на дворъ бородатый, лѣсной мужикъ изъ Сергача. Крестя снѣжно-бѣлую, чистую грудь, она тихонько смѣется, колышется вся:

— Получше Себѣ взялъ, похуже мнѣ оставилъ. Очень я обрадовалась Иванкѣ, — ужъ больно люблю васъ, маленькихъ! Ну, и приняли его, окрестили, вотъ онъ и живетъ, хорошъ. Я его вначалѣ Жукомъ звала, — онъ, бывало, ужжалъ особенно, — совсѣмъ жукъ, пол-

заетъ и ужжитъ на всѣ горницы. Люби его, — онъ простая душа!

Я и любилъ Ивана, и удивлялся ему до нѣмоты.

По субботамъ, когда дѣдъ, перепоровъ дѣтей, нагрѣшившихъ за недѣлю, уходилъ ко всенощной, въ кухнѣ начиналась неописуемо-забавная жизнь: Цыганокъ доставалъ изъ-за печи черныхъ таракановъ, быстро дѣлалъ нитяную упряжь, вырѣзывалъ изъ бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъѣзжала четверка вороныхъ, а Иванъ, направляя ихъ бѣгъ тонкой лучиной, возбужденно визжалъ:

— За архереемъ поѣхали!

Приклеивалъ на спину таракана маленькую бумажку, гналъ его за санями и объяснялъ:

— Мѣшокъ забыли. Монахъ бѣжитъ, тащитъ! Ихъ ты!

Связывалъ ножки таракана ниткой; насѣкомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричалъ, прихлопывая ладонями:

— Дьячокъ изъ кабака къ вечерней правитъ!

Онъ показывалъ мышатъ, которые подъ его команду стояли и ходили на заднихъ лапахъ, волоча за собою длинные хвосты, смѣшно мигая черненькими бусинами бойкихъ глазъ. Съ мышами онъ обращался бережно, носилъ ихъ за пазухой, кормилъ изо рта сахаромъ, цѣловалъ и говорилъ убѣдительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любитъ! Кто мышей кормитъ, тому и дѣдъ-домовикъ мирволитъ...

Онъ умѣлъ дѣлать фокусы съ картами, деньгами, кричалъ больше всѣхъ дѣтей и почти ничѣмъ не отличался отъ нихъ. Однажды дѣти, играя съ нимъ въ карты, оставили его «дуракомъ» нѣсколько разъ кряду, — онъ очень опечалился, обиженно надулъ губы и бросилъ игру, а потомъ жаловался мнѣ, шмыгая носомъ:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали другъ другу подъ столомъ. Развѣ это игра? Жульничать я самъ умѣю не хуже...

Ему было девятнадцать лѣтъ, и былъ онъ больше всѣхъ насъ четверыхъ, взятыхъ вмѣстѣ.

Но особенно онъ памятенъ мнѣ въ праздничные вечера; когда дѣдъ и дядя Михаилъ уходили въ гости, въ кухнѣ являлся кудрявый, встрепанный дядя Яковъ съ гитарой, бабушка устраивала чай съ обильной закуской и водкой въ зеленомъ штофѣ съ красными цвѣтами, искусно вылитыми изъ стекла на днѣ его; волчкомъ вертѣлся празднично одѣтый Цыганокъ, тихо, бокомъ приходилъ мастеръ, сверкая темными стеклами очковъ, нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, съ хитрыми глазами и трубнымъ голосомъ; иногда присутствовали волосатый успенскій дьячокъ и еще какіе-то темные, скользкіе люди, похожіе на щукъ и налимовъ.

Всѣ много пили, ѣли, вздыхая тяжко, дѣтямъ давали гостинцы, по рюмкѣ сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яковъ любовно настраивалъ гитару, а настроивъ, говорилъ всегда одни и тѣ же слова:

— Ну-съ, я начну-съ!

Встряхнувъ кудрями, онъ сгибался надъ гитарой, вытягивалъ шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось соннымъ; живые, неуловимые глаза угасали въ масляномъ туманѣ, и, тихонько пощипывая струны, онъ игралъ что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливымъ ручьемъ она бѣжала откуда-то издали, просачивалась сквозь полъ и стѣны и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и безпокойное. Подъ эту музыку становилось жалко всѣхъ и себя самого, боль-

шіе казались тоже маленькими, и всѣ сидѣли неподвижно, притаясь въ задумчивомъ молчаніи.

Особенно напряженно слушалъ Саша Михайловъ; онъ все вытягивался въ сторону дяди, смотрѣлъ на гитару, открывъ ротъ, и черезъ губу у него тянулась слюна. Иногда онъ забывался до того, что падалъ со стула, тыкаясь руками въ полъ, и если это случалось, онъ такъ ужъ и сидѣлъ на полу, вытаращивъ застывшіе глаза.

И всѣ застывали, очарованные; только самоваръ тихо поетъ, не мѣшая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленькихъ оконъ устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукиваетъ въ нихъ. На столѣ качаются желтые огни двухъ сальныхъ свѣчъ, острые, точно копья.

Дядя Яковъ все болѣе цѣпенѣлъ; казалось, онъ крѣпко спитъ, сцѣпивъ зубы, только руки его живутъ отдѣльной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали надъ темнымъ голосникомъ, точно птица порхала и билась; пальцы лѣвой съ неуловимой быстротой бѣгали по грифу.

Выпивши, онъ почти всегда пѣлъ сквозь зубы голосомъ, непріятно свистящимъ, безконечную пѣсню:

Быть бы Якову собакою,
Вылъ бы Яковъ съ утра до ночи.
    Ой, скушно мнѣ!
    Ой, грустно мнѣ!
По улицѣ монахиня идетъ;
На заборѣ ворона сидитъ.
    Ой, скушно мнѣ!
За печкою сверчокъ торохтитъ,
Тараканы безпокоятся.
    Ой, скушно мнѣ!
Нищій вывѣсилъ портянки сушить,
А другой нищій портянки укралъ!
    Ой, скушно мнѣ!
    Да, охъ, грустно мнѣ!

Я не выносилъ этой пѣсни, и когда дядя запѣвалъ о нищихъ, буйно плакалъ въ невыносимой тоскѣ.

Цыганокъ слушалъ музыку съ тѣмъ же вниманіемъ, какъ всѣ, запустивъ пальцы въ свои черныя космы, глядя въ уголъ и посапывая. Иногда онъ неожиданно и жалобно восклицалъ:

— Эхъ, кабы голосъ мнѣ, — пѣлъ бы я какъ, Господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будетъ тебѣ, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясалъ...

Они не всегда исполняли просьбу ея сразу, но бывало, что музыкантъ вдругъ на секунду прижималъ струны ладонью, а потомъ, сжавъ кулакъ, съ силою отбрасывалъ отъ себя на полъ что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричалъ:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганокъ осторожно, точно по гвоздямъ шагая, выходилъ на середину кухни; его смуглыя щеки краснѣли и, сконфуженно улыбаясь, онъ просилъ:

— Только почаще, Яковъ Васильичъ!

Бѣшено звенѣла гитара, дробно стучали каблуки, на столѣ и въ шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнемъ пылалъ Цыганокъ, рѣялъ коршуномъ, размахнувъ руки, точно крылья, незамѣтно передвигая ноги; гикнувъ, присѣдалъ на полъ и метался золотымъ стрижомъ, освѣщая все вокругъ блескомъ шолка, а шолкъ, содрогаясь и струясь, словно горѣлъ и плавился.

Цыганокъ плясалъ неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, онъ такъ и пойдетъ плясомъ по улицѣ, по городу, неизвѣстно куда...

— Рѣжь поперекъ! — кричалъ дядя Яковъ, притопывая.

И пронзительно свистѣлъ, и раздражающимъ голосомъ выкрикивалъ прибаутки:

Эхъ, ма! Кабы не было мнѣ жалко лаптей,
Убѣжалъ бы отъ жены и отъ дѣтей!

Людей за столомъ подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно ихъ обжигало; бородатый мастеръ хлопалъ себя по лысинѣ и урчалъ что-то. Однажды онъ, наклонясь ко мнѣ и покрывъ мягкой бородою плечо мое, сказалъ прямо въ ухо, обращаясь словно къ взрослому:

— Отца бы твоего, Лексѣй Максимычъ сюда, — онъ бы другой огонь зажегъ! Радостный былъ мужъ, утѣшный. Ты его помнишь ли?

— Нѣтъ.

— Ну? Бывало, онъ, да бабушка, — стой-ко, погоди!

Онъ поднялся на ноги, высокій, изможденный, похожій на образъ святого, поклонился бабушкѣ и сталъ просить ее необычно густымъ голосомъ:

— Акулина Ивановна, сдѣлай милость, пройдись разокъ! Какъ, бывало, съ Максимомъ Савватеевымъ хаживала. Утѣшь!

— Что ты, свѣтъ, что ты сударь, Григорій Иванычъ? — посмѣиваясь и поёживаясь, говорила бабушка. — Куда ужъ мнѣ плясать! Людей смѣшить только...

Но всѣ стали просить ее, и вдругъ она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинувъ тяжелую голову, и пошла по кухнѣ, вскрикивая:

— А смѣйтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрылъ глаза и заигралъ медленнѣе; Цыганокъ на минуту остановился и, подскочивъ, пошелъ вприсядку кругомъ бабушки, а она плыла по полу безшумно, какъ по воздуху,

разводя руками, поднявъ брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мнѣ она показалась смѣшной, я фыркнулъ; мастеръ строго погрозилъ мнѣ пальцемъ, и всѣ взрослые посмотрѣли въ мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иванъ! — сказалъ мастеръ, усмѣхаясь; Цыганокъ послушно отскочилъ въ сторону, сѣлъ на порогъ, а нянька Евгенья, выгнувъ кадыкъ, запѣла низкимъ, пріятнымъ голосомъ:

Всю недѣлю, до субботы,
Плела дѣвка кружева,
Истомилася работой,
Эхъ, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно разсказывала что-то. Вотъ она идетъ тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокругъ изъ-подъ руки, и все ея большое тѣло колеблется нерѣшительно, ноги щупаютъ дорогу осторожно. Остановилась, вдругъ испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчасъ засіяло доброй, привѣтливой улыбкой. Откачнулась въ сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустивъ голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселѣе, — и вдругъ ее сорвало съ мѣста, закружило вихремъ, вся она стала стройнѣй, выше ростомъ, и ужъ нельзя было глазъ отвести отъ нея, — такъ буйно-кра[illegible] и мила становилась она въ эти минуты чудесна[illegible] возвращенія къ юности!

А нянька Евгенья гудѣла, какъ труба:

Въ воскресенье отъ обѣдни
До полуночи плясала.
Ушла съ улицы послѣдней,
Жаль, — праздника мало!

Кончивъ плясать, бабушка сѣла на свое мѣсто къ самовару; всѣ хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящихъ-то плясуній. А вотъ у насъ въ Балахнѣ была дѣвка одна, — ужъ и не помню, чья, какъ звали, — такъ иные, глядя на ея пляску, даже плакали въ радости! Глядишь, бывало, на нее, — вотъ тебѣ и праздникъ, и болѣ ничего не надо! Завидовала я ей, грѣшница!

— Пѣвцы да плясуны — первые люди на міру! — строго сказала нянька Евгенья и начала пѣть что-то про царя Давида, а дядя Яковъ, обнявъ Цыганка, говорилъ ему:

— Тебѣ бы въ трактирахъ плясать, — съ ума свелъ бы ты людей!...

— Мнѣ голосъ имѣть хочется! — жаловался Цыганокъ. — Ежели бы голосъ Богъ далъ, десять лѣтъ я бы попѣлъ, а послѣ хоть въ монахи!

Всѣ пили водку, особенно много Григорій. Наливая ему стаканъ за стаканомъ, бабушка предупреждала:

— Гляди, Гриша, вовсе ослѣпнешь!

Онъ отвѣчалъ солидно:

— Пускай! Мнѣ глаза больше не надобны, — ужъ все видѣлъ я...

Пилъ онъ, не пьянѣя, но становился все болѣе разговорчивымъ и почти всегда говорилъ мнѣ про отца:

— Большого сердца былъ мужъ, дружокъ мой, Максимъ Савватеичъ...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

— Да ужъ, Господне дитя...

Все было страшно интересно, все держало меня въ напряженіи, и отъ всего просачивалась въ сердце какая-то тихая, не утомляющая грусть. И грусть, и радость жили въ людяхъ рядомъ, нераздѣльно почти, замѣняя одна другую съ неуловимой непонятной быстротой.

Однажды дядя Яковъ, не очень пьяный, началъ рвать на себѣ рубаху, яростно дергать себя за кудри, за рѣдкіе бѣлесые усы, за носъ и отвисшую губу.

— Что это такое, что? — вылъ онъ, обливаясь слезами. — Зачѣмъ это?

Билъ себя по щекамъ, по лбу, въ грудь и рыдалъ:

— Негодяй и подлецъ, разбитая душа!

Григорій рычалъ:

— Ага-а! То-то вотъ!...

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

— Полно, Яша, Господь знаетъ, чему учитъ!

Выпивши, она становилась еще лучше: темные ея глаза, улыбаясь, изливали на всѣхъ грѣющій душу свѣтъ, и, обмахивая платкомъ разгорѣвшееся лицо, она пѣвуче говорила:

— Господи, Господи! Какъ хорошо все! Нѣтъ, вы глядите, какъ хорошо-то все!

Это былъ крикъ ея сердца, лозунгъ всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботнаго дяди. Я спросилъ бабушку, отчего онъ плакалъ и ругалъ и билъ себя.

— Все бы тебѣ знать! — неохотно, противъ обыкновенія, сказала она. — Погоди, рано тебѣ торкаться въ эти дѣла...

Это еще болѣе возбудило мое любопытство. Я пошелъ въ мастерскую и привязался къ Ивану, но и онъ не хотѣлъ отвѣтить мнѣ, смѣялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня изъ мастерской, кричалъ:

— Отстань, отойди! Вотъ я тебя въ котелъ спущу, выкрашу!

Мастеръ, стоя предъ широкой низенькой печью, со вмазанными въ нее тремя котлами, помѣшивалъ въ нихъ длинной черной мѣшалкой и, вынимая ее, смотрѣлъ, какъ стекаютъ съ конца цвѣтныя капли. Жарко горѣлъ огонь, отражаясь на подолѣ кожанаго передника, пестраго, какъ риза попа. Шипѣла въ котлахъ окрашенная вода, ѣдкій

паръ густымъ облакомъ тянулся къ двери, по двору носился сухой поземокъ.

Мастеръ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ мутными, красными глазами и грубо сказалъ Ивану:

— Дровъ! Али не видишь?

А когда Цыганокъ выбѣжалъ на дворъ, Григорій, присѣвъ на куль сандала, поманилъ меня къ себѣ:

— Подь сюда!

Посадилъ на колѣни и, уткнувшись теплой, мягкой бородой въ щеку мнѣ, памятно разсказалъ:

— Дядя твой жену на-смерть забилъ, замучилъ, а теперь его совѣсть дергаетъ, — понялъ? Тебѣ все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

Съ Григоріемъ — просто, какъ съ бабушкой, но жутко, и кажется, что онъ изъ-подъ очковъ видитъ все насквозь.

— Какъ забилъ? — говоритъ онъ, не торопясь. — А такъ: ляжетъ спать съ ней, накроетъ ее одѣяломъ съ головою и тискаетъ, бьетъ. Зачѣмъ? А онъ, поди, и самъ не знаетъ.

И, не обращая вниманія на Ивана, который, возвратясь съ охапкой дровъ, сидитъ на корточкахъ передъ огнемъ, грѣя руки, мастеръ продолжаетъ внушительно:

— Можетъ, за то билъ, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, братъ, хорошаго не любятъ, они ему завидуютъ, а принять не могутъ, истребляютъ! Ты вотъ спроси-ка бабушку, какъ они отца твоего со свѣта сживали. Она все скажетъ; она неправду не любитъ, не понимаетъ. Она въ родѣ святой, хоть и вино пьетъ, табакъ нюхаетъ. Блаженная, какъ бы. Ты держись за нее крѣпко...

Онъ оттолкнулъ меня, и я вышелъ на дворъ, удрученный, напуганный. Въ сѣняхъ дома меня догналъ Ванюшка, схватилъ за голову и шепнулъ тихонько:

— Ты не бойся его, онъ добрый; ты гляди прямо въ глаза ему, онъ это любитъ.

Все было странно и волновало. Я не зналъ другой жизни, но смутно помнилъ, что отецъ и мать жили не такъ: были у нихъ другія рѣчи, другое веселье, ходили и сидѣли они всегда рядомъ, близко. Они часто и подолгу смѣялись вечерами, сидя у окна, пѣли громко; на улицѣ собирались люди, глядя на нихъ. Лица людей, поднятыя вверхъ, смѣшно напоминали мнѣ грязныя тарелки послѣ обѣда. Здѣсь смѣялись мало, и не всегда было ясно, надъ чѣмъ смѣются. Часто кричали другъ на друга, грозили чѣмъ-то одинъ другому, тайно шептались въ углахъ. Дѣти были тихи, незамѣтны; они прибиты къ землѣ, какъ пыль дождемъ. Я чувствовалъ себя чужимъ въ домѣ, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколовъ, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему съ напряженнымъ вниманіемъ.

Моя дружба съ Иваномъ все росла; бабушка отъ восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертѣлся около Цыганка. Онъ все такъ же подставлялъ подъ розги руку свою, когда дѣдушка сѣкъ меня, а на другой день, показывая опухшіе пальцы, жаловался мнѣ:

— Нѣтъ, это все безъ толку! Тебѣ — не легче, а мнѣ — гляди-ка вотъ! Больше я не стану, ну тебя!

И въ слѣдующій разъ снова принималъ ненужную боль.

— Ты, вѣдь, не хотѣлъ?

— Не хотѣлъ, да вотъ сунулъ... Такъ ужъ, какъ-то незамѣтно...

Вскорѣ я узналъ про Цыганка нѣчто, еще больше поднявшее мой интересъ къ нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганокъ запрягалъ въ широкія сани гнѣдого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитраго озорника и сластену; одѣвалъ короткій, до колѣнъ, полу-

шубокъ, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленымъ кушакомъ, ѣхалъ на базаръ покупать провизію. Иногда онъ не возвращался долго. Всѣ въ домѣ безпокоились, подходили къ окнамъ и, протаивая дыханіемъ ледъ на стеклахъ, заглядывали на улицу.

— Не ѣдетъ?

— Нѣтъ!

Больше всѣхъ волновалась бабушка.

— Эхъ-ма, — говорила она сыновьямъ и дѣду, — погубите вы мнѣ человѣка и лошадь погубите! И какъ не стыдно вамъ, рожи безсовѣстныя? Али мало своего? Охъ, неумное племя, жадюги, — накажетъ васъ Господь.

Дѣдушка хмуро ворчалъ:

— Ну, ладно. Послѣдній разъ это...

Иногда Цыганокъ возвращался только къ полудню; дядья, дѣдушка поспѣшно шли на дворъ, за ними, ожесточенно нюхая табакъ, медвѣдицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая въ этотъ часъ. Выбѣгали дѣти, и начиналась веселая разгрузка саней, полныхъ поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всѣхъ сортовъ.

— Всего купилъ, какъ сказано было? — спрашивалъ дѣдъ, искоса острыми глазами ощупывая возъ.

— Все, какъ надо, — весело отзывался Иванъ и, прыгая по двору, чтобы согрѣться, оглушительно хлопалъ рукавицами.

— Не бей голицъ, за нихъ деньги даны, — строго кричалъ дѣдъ. — Сдача есть?

— Нѣту.

Дѣдъ медленно обходилъ вокругъ воза и говорилъ негромко:

— Опять что-то много ты привезъ. Гляди, однако, не безъ денегъ ли покупалъ. У меня чтобы не было этого.

И уходилъ быстро, сморщивъ лицо.

Дядья весело бросались къ возу и, взвѣшивая на рукахъ птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумѣли:

— Ну, ловко отобралъ.

Дядя Михаилъ особенно восхищался: пружинисто прыгалъ вокругъ воза, принюхиваясь ко всему носомъ дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря безпокойные глаза, сухой, похожій на отца, но выше его ростомъ и черный, какъ головня. Спрятавъ озябшія руки въ рукава, онъ разспрашивалъ Цыганка:

— Тебѣ отецъ сколько далъ?

— Пять цѣлковыхъ.

— А тутъ на пятнадцать. А сколько ты потратилъ?

— Четыре съ гривной.

— Стало-быть, девять гривенъ въ карманѣ. Видалъ, Яковъ, какъ деньги растятъ?

Дядя Яковъ, стоя на морозѣ въ одной рубахѣ, тихонько посмѣивался, моргая въ синее холодное небо.

— Ты намъ, Ванька, по косушкѣ поставь, — лѣниво говорилъ онъ.

Бабушка распрягала коня.

— Что, дитятко? Что, котенокъ? Пошалить охота? Ну, побалуй, Богова забава!

Огромный Шарапъ, взмахивая густою гривой, цапалъ ее бѣлыми зубами за плечо, срывалъ шолковую головку съ волосъ, заглядывалъ въ лицо ей веселымъ глазомъ и, встряхивая иней съ рѣсницъ, тихонько ржалъ.

— Хлѣбца просишь?

Она совала въ зубы ему большую краюху, круто посоленную, мѣшкомъ подставляла передникъ подъ морду и смотрѣла задумчиво, какъ онъ ѣстъ.

Цыганокъ, играючи тоже, какъ молодой конь, подскочилъ къ ней.

— Ужъ такъ, бабаня, хорошъ меринъ, такъ уменъ...

— Поди прочь, не верти хвостомъ! — крикнула бабушка, притопнувъ ногою. — Знаешь, что не люблю я тебя въ этотъ день.

Она объяснила мнѣ, что Цыганокъ не столько покупаетъ на базарѣ, сколько воруетъ.

— Дастъ ему дѣдъ пятишницу, онъ на три рубля купитъ, а на десять украдетъ, — невесело говорила она. — Любитъ воровать, баловникъ! Разъ попробовалъ, — ладно вышло, а дома посмѣялись, похвалили за удачу, онъ и взялъ воровство въ обычай. А дѣдушка съ молоду бѣдности-горя до́сыта отвѣдалъ, — подъ старость жаденъ сталъ, ему деньги дороже дѣтей кровныхъ, онъ радъ даровщинѣ! А Михайло съ Яковомъ...

Махнувъ рукой, она замолчала на минуту, потомъ, глядя въ открытую табакерку, прибавила ворчливо:

— Тутъ, Леня, дѣла-кружева, а плела ихъ слѣпая баба, гдѣ ужъ намъ узоръ разобрать! Вотъ поймаютъ Иванку на воровствѣ, — забьютъ до-смерти...

И еще, помолчавъ, она тихонько сказала:

— Эхе-хе! Правилъ у насъ много, а правды нѣтъ...

На другой день я сталъ просить Цыганка, чтобъ онъ не воровалъ больше.

— А то тебя будутъ бить до-смерти...

— Не достигнутъ, — вывернусь: я ловкій, конь рѣзвый! — сказалъ онъ, усмѣхаясь, но тотчасъ грустно нахмурился. — Вѣдь, я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я такъ себѣ, отъ скуки. И денегъ я не коплю, дядья твои за недѣлю-то все у меня выманятъ. Мнѣ не жаль, берите! Я сытъ.

Онъ вдругъ взялъ меня на руки, потрясъ тихонько.

— Легкій ты, тонкій, а кости крѣпкія, силачъ будешь. Ты знаешь что? Учись на гитарѣ играть, проси дядю Якова, ей-Богу! Малъ ты еще, вотъ незадача! Малъ ты, а сердитый. Дѣдушку-то не любишь?

— Не знаю.

— А я всѣхъ Кашириныхъ, кромѣ бабани, не люблю, пускай ихъ демонъ любитъ!

— А меня?

— Ты — не Каширинъ, ты — Пѣшко̀въ, другая кровь, другое племя...

И вдругъ, стиснувъ меня крѣпко, онъ почти застоналъ:

— Эхъ, кабы голосъ мнѣ пѣвучій, ухъ, ты, Господи! Вотъ ожегъ бы я народъ... Иди, братъ, работать надо...

Онъ спустилъ меня на полъ, всыпалъ въ ротъ себѣ горсть мелкихъ гвоздей и сталъ натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной матеріи.

Вскорѣ онъ погибъ.

Случилось это такъ: на дворѣ, у воротъ, лежалъ, прислоненъ къ забору, большой дубовый крестъ, съ толстымъ суковатымъ комелемъ. Лежалъ онъ давно. Я замѣтилъ его въ первые же дни жизни въ домѣ, — тогда онъ былъ новѣе и желтѣй, но за осень сильно почернѣлъ подъ дождями. Отъ него горько пахло моренымъ дубомъ, и былъ онъ на тѣсномъ, грязномъ дворѣ лишній.

Его купилъ дядя Яковъ, чтобъ поставить надъ могилою своей жены, и далъ обѣтъ отнести крестъ на своихъ плечахъ до кладбища въ годовщину смерти ея.

Этотъ день наступилъ въ субботу, въ началѣ зимы; было морозно и вѣтрено, съ крышъ сыпался снѣгъ. Всѣ изъ дома вышли на дворъ, дѣдъ и бабушка съ тремя внучатами еще раньше уѣхали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома, въ наказаніе за какіе-то грѣхи.

Дядья, въ одинаковыхъ черныхъ полушубкахъ, приподняли крестъ съ земли и встали подъ крылья; Григорій и какой-то чужой человѣкъ, съ трудомъ поднявъ

тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; онъ пошатнулся, разставилъ ноги.

— Не сдюжишь? — спросилъ Григорій.

— Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаилъ сердито закричалъ:

— Отворяй ворота, слѣпой чортъ!

А дядя Яковъ сказалъ:

— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорій, распахивая ворота, строго посовѣтовалъ Ивану:

— Гляди же, не перемогайся! Пошли съ Богомъ!

— Плѣшивая дура! — крикнулъ дядя Михаилъ съ улицы.

Всѣ, кто былъ на дворѣ, усмѣхнулись, заговорили громко, какъ будто всѣмъ понравилось, что крестъ унесли.

Григорій Ивановичъ, ведя меня за руку въ мастерскую, говорилъ:

— Можетъ, сегодня дѣдушка не посѣчетъ тебя, — ласково глядитъ онъ...

Въ мастерской, усадивъ меня на груду приготовленной въ краску шерсти и заботливо окутавъ ею до плечъ, онъ, понюхивая восходившій надъ котлами паръ, задумчиво говорилъ:

— Я, милый, тридцать семь лѣтъ дѣдушку знаю, въ началѣ дѣла видѣлъ и въ концѣ гляжу. Мы съ нимъ раньше дружки-пріятели были, вмѣстѣ это дѣло начали, придумали. Онъ умный, дѣдушка! Вотъ онъ хозяиномъ поставилъ себя, а я не сумѣлъ. Господь, однако, всѣхъ насъ умнѣе: Онъ только улыбнется, а самый премудрый человѣкъ ужъ и въ дуракахъ мигаетъ. Ты еще не понимаешь, что къ чему говорится, къ чему дѣлается, а надобно тебѣ все понимать. Сиротское житье трудное. Отецъ твой, Максимъ Савватеичъ, козырь былъ, онъ

все понималъ, — за то дѣдушка и не любилъ его, не признавалъ...

Было пріятно слушать добрыя слова, глядя, какъ играетъ въ печи красный и золотой огонь, какъ надъ котлами вздымаются молочныя облака пара, осѣдая сизымъ инеемъ на доскахъ косой крыши, — сквозь мохнатыя щели ея видны голубыя ленты неба. Вѣтеръ сталъ тише, гдѣ-то свѣтитъ солнце, весь дворъ точно стеклянной пылью посыпанъ, на улицѣ взвизгиваютъ полозья саней, голубой дымъ вьется изъ трубъ дома, легкія тѣни скользятъ по снѣгу, тоже что-то разсказывая.

Длинный, костлявый Григорій, бородатый, безъ шапки, съ большими ушами, точно добрый колдунъ, мѣшаетъ кипящую краску и все учитъ меня:

— Гляди всѣмъ прямо въ глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, — отстанетъ...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конецъ носа налился синей кровью и похожъ на бабушкинъ. Съ Григоріемъ и просто, какъ съ бабушкой...

— Стой-ко? — вдругъ сказалъ онъ, прислушиваясь, потомъ прикрылъ ногою дверцу печи и прыжками побѣжалъ по двору. Я тоже бросился за нимъ.

Въ кухнѣ, среди пола, лежалъ Цыганокъ, вверхъ лицомъ; широкія полосы свѣта изъ оконъ падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лобъ его странно свѣтился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрѣли въ черный потолокъ; темныя губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; изъ угловъ губъ по щекамъ, на шею и на полъ стекала кровь; она текла густыми ручьями изъ-подъ спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрыя; онѣ тяжело приклеились къ половицамъ. Полъ былъ чисто вымытъ съ дресвою. Онъ солнечно блестѣлъ. Ручьи крови пересѣкали полосы свѣта и тянулись къ порогу, очень яркіе.

Цыганокъ не двигался; только пальцы рукъ, вытянутыхъ вдоль тѣла, шевелились, цапаясь за полъ, и блестѣли на солнцѣ окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присѣвъ на корточки, вставляла въ руку Ивана тонкую свѣчу; Иванъ не держалъ ее, свѣча падала, кисточка огня тонула въ крови; нянька, поднявъ ее, отирала концомъ запона и снова пыталась укрѣпить въ безпокойныхъ пальцахъ. Въ кухнѣ плавалъ качающій шопотъ; онъ, какъ вѣтеръ, толкалъ меня съ порога, но я крѣпко держался за скобу двери.

— Споткнулся онъ, — какимъ-то сѣрымъ голосомъ разсказывалъ дядя Яковъ, вздрагивая и крутя головою. Онъ весь былъ сѣрый, измятый, глаза у него выцвѣли и часто мигали.

— Упалъ, а его и придавило, — въ спину ударило. И насъ бы покалѣчило, да мы во-время сбросили крестъ.

— Вы его и задавили, — глухо сказалъ Григорій.

— Да — какъ же...

— Вы!

Кровь все текла, подъ порогомъ она уже собралась въ лужу, потемнѣла и какъ будто поднималась вверхъ. Выпуская розовую пѣну, Цыганокъ мычалъ, какъ во снѣ, и таялъ, становился все болѣе плоскимъ, приклеиваясь къ полу, уходя въ него.

— Михайло въ церковь погналъ на лошади за отцомъ, — шепталъ дядя Яковъ, — а я на извозчика навалилъ его, да скорѣе сюда ужъ... Хорошо, что не самъ я подъ комель-то всталъ, а то бы вотъ...

Нянька снова прикрѣпляла свѣчу къ рукѣ Цыганка, капала на ладонь ему воскомъ и слезами.

Григорій громко и грубо сказалъ:

— Да ты въ головахъ къ полу прилѣпи, чуваша!

— И то.

— Шапку-то сними съ него!

Нянька стянула съ головы Ивана шапку; онъ тупо

стукнулся затылкомъ. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильнѣй, но уже съ одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждалъ, что Цыганокъ отдохнетъ, поднимется, сядетъ на полу и, сплюнувъ, скажетъ:

— Ф-фу, жарынь...

Такъ дѣлалъ онъ, когда просыпался по воскресеньямъ, послѣ обѣда. Но онъ не вставалъ, все таялъ. Солнце уже отошло отъ него, свѣтлыя полосы укоротились и лежали только на подоконникахъ. Весь онъ потемнѣлъ, уже не шевелилъ пальцами, и пѣна на губахъ исчезла. За теменемъ и около ушей его торчали три свѣчи, помахивая золотыми кисточками, освѣщая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглыхъ щекахъ, свѣтился кончикъ остраго носа и розовые зубы.

Нянька, стоя на колѣняхъ, плакала, пришептывая:

— Голубчикъ ты мой, ястребенокъ утѣшный...

Было жутко, холодно. Я залѣзъ подъ столъ и спрятался тамъ. Потомъ въ кухню тяжко ввалился дѣдъ въ енотовой шубѣ, бабушка въ салопѣ, съ хвостами на воротникѣ, дядя Михаилъ, дѣти и много чужихъ людей.

Сбросивъ шубу на полъ, дѣдъ закричалъ:

— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Вѣдь, ему бы цѣны не было лѣтъ черезъ пятокъ...

На полъ валилась одежда, мѣшая мнѣ видѣть Ивана; я вылѣзъ, попалъ подъ ноги дѣда. Онъ отшвырнулъ меня прочь, грозя дядьямъ маленькимъ краснымъ кулакомъ:

— Волки!

И сѣлъ на скамью, упершись въ нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучимъ голосомъ:

— Знаю я, — онъ вамъ поперекъ глотокъ стоялъ... Эхъ, Ванюшечка... дурачокъ! Что подѣлаешь, а? Что, — говорю, — подѣлаешь? Кони — чужіе, вожжи —

гнилыя. Мать, не взлюбилъ насъ Господь за послѣдніе года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала въ глаза ему, хватала за руки, мяла ихъ и повалила всѣ свѣчи. Потомъ она тяжело поднялась на ноги, черная вся, въ черномъ блестящемъ платьѣ, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

— Вонъ, окаянные!

Всѣ, кромѣ дѣда, высыпались изъ кухни.

...Цыганка похоронили незамѣтно, непамятно.

IV.

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутанъ тяжелымъ одѣяломъ, и слушаю, какъ бабушка молится Богу, стоя на колѣняхъ, прижавъ одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворѣ стрѣляетъ морозъ; зеленоватый лунный свѣтъ смотритъ сквозь узорныя — во льду — стекла окна, хорошо освѣтивъ доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическимъ огнемъ. Шолковая головка, прикрывъ волосы бабушки, блеститъ, точно кованая; темное платье шевелится, струится съ плечъ, разстилаясь по полу.

Кончивъ молитву, бабушка молча раздѣнется, аккуратно сложитъ одежду на сундукъ въ углу и подойдетъ къ постели, а я притворюсь, что крѣпко уснулъ.

— Вѣдь, врешь, поди, разбойникъ, не спишь? — тихонько говоритъ она. — Не спишь, молъ, голуба́-душа? Ну-ко, давай одѣяло!

Предвкушая дальнѣйшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычитъ:

— А-а, такъ ты надъ бабушкой-старухой шутки шутить затѣялъ!

Взявъ одѣяло за край, она такъ ловко и сильно дергаетъ его къ себѣ, что я подскакиваю въ воздухѣ и, нѣсколько разъ перевернувшись, шлепаюсь въ мягкую перину, а она хохочетъ:

— Что, рѣдькинъ сынъ? Съѣлъ комара?

Но иногда она молится очень долго, я, дѣйствительно, засыпаю и уже не слышу, какъ она ложится.

Долгія молитвы всегда завершаютъ дни огорченій, ссоръ и дракъ; слушать ихъ очень интересно; бабушка подробно разсказываетъ Богу обо всемъ, что случилось въ домѣ; грузно, большимъ холмомъ стоитъ на колѣняхъ и сначала шепчетъ невнятно, быстро, а потомъ густо ворчитъ:

— Ты, Господи, самъ знаешь, — всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы въ городѣ-то надо остаться, за рѣку ѣхать обидно ему, и мѣсто тамъ новое, неиспытанное; что будетъ — не вѣдомо. А отецъ, — онъ Якова больше любитъ. Али это хорошо — неровно-то дѣтей любить? Упрямъ старикъ, — Ты бы, Господи, вразумилъ его.

Глядя на темныя иконы большими свѣтящимися глазами, она совѣтуетъ Богу своему:

— Наведи-ко Ты, Господи, добрый сонъ на него, чтобы понять ему, какъ надобно дѣтей-то дѣлить!

Крестится, кланяется въ землю, стукаясь большимъ лбомъ о половицу, и, снова выпрямившись, говоритъ внушительно:

— Варварѣ-то улыбнулся бы радостью какой! Чѣмъ она Тебя прогнѣвала, чѣмъ грѣшнѣй другихъ? Что это: женщина молодая, здоровая, а въ печали живетъ. И вспомяни, Господи, Григорья, — глаза-то у него все хуже. Ослѣпнетъ, — по міру пойдетъ, нехорошо! Всю свою силу онъ на дѣдушку истратилъ, а дѣдушка развѣ поможетъ... О, Господи, Господи...

Она долго молчитъ, покорно опустивъ голову и руки, точно уснула крѣпко, замерзла.

— Что еще? — вслухъ вспоминаетъ она, приморщивъ брови. — Спаси, помилуй всѣхъ православныхъ; меня, дуру, окаянную, прости, — Ты знаешь: не со зла грѣшу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнувъ, она говоритъ ласково, удовлетворенно:

— Все Ты, Родимый, знаешь, все Тебѣ, Батюшка, вѣдомо.

Мнѣ очень нравился бабушкинъ Богъ, такой близкій ей, и я часто просилъ ее:

— Разскажи про Бога!

Она говорила о Немъ особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрывъ глаза и непремѣнно сидя; приподнимется, сядетъ, накинетъ на простоволосую голову платокъ и заведетъ надолго, пока не заснешь:

— Сидитъ Господь на холмѣ, среди луга райскаго, на престолѣ синя камня яхонта, подъ серебряными липами, а тѣ липы цвѣтутъ весь годъ кругомъ; нѣтъ въ раю ни зимы, ни осени, и цвѣты николи не вянутъ, такъ и цвѣтутъ неустанно, въ радость угодникамъ Божьимъ. А около Господа ангелы летаютъ во множествѣ, какъ снѣгъ идетъ, али пчелы роятся, али бы бѣлые голуби летаютъ съ неба на землю, да опять на небо и обо всемъ Богу сказываютъ про насъ, про людей. Тутъ и твой, и мой, и дѣдушкинъ, — каждому ангелъ данъ, Господь ко всѣмъ равенъ. Вотъ твой ангелъ Господу приноситъ: Лексѣй дѣдушкѣ языкъ высунулъ! А Господь и распорядится: ну, пускай старикъ посѣчетъ его! И такъ все, про всѣхъ, и всѣмъ Онъ воздаетъ по дѣламъ, — кому горемъ, кому радостью. И такъ все это хорошо у Него, что ангелы веселятся, плещутъ крыльями и поютъ Ему безперечь: «Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ!» А Онъ, милый, только улыбается имъ, — дескать, ладно ужъ!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видѣла?

— Не видала, а знаю! — отвѣчаетъ она задумчиво.

Говоря о Богѣ, раѣ, ангелахъ, она становилась маленькой и кроткой, лицо ея молодѣло, влажные глаза струили особенно теплый свѣтъ. Я бралъ въ руки тяжелыя атласныя косы, обертывалъ ими шею себѣ и, не

двигаясь, чутко слушалъ безконечные, никогда не надоѣдавшіе разсказы.

— Бога видѣть человѣку не дано, — ослѣпнешь; только святые глядятъ на Него во весь глазъ. А вотъ ангеловъ видѣла я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я въ церкви у ранней обѣдни, а въ алтарѣ и ходятъ двое, какъ туманы, видно сквозь нихъ все, свѣтлые, свѣтлые, и крылья до полу, кружевныя, кисейныя. Ходятъ они кругомъ престола и отцу Ильѣ помогаютъ, старичку: онъ подниметъ ветхія руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживаютъ. Онъ очень старенькій былъ, слѣпой ужъ, тыкался обо все и поскорости послѣ того успѣлъ, скончался. Я тогда, какъ увидала ихъ, — обмерла отъ радости, сердце заныло, слезы катятся, — охъ, хорошо было! Ой, Ленька, голуба́-душа, хорошо все у Бога и на небѣ, и на землѣ, такъ хорошо...

— А у насъ хорошо развѣ?

Осѣнивъ себя крестомъ, бабушка отвѣтила:

— Слава Пресвятой Богородицѣ, — все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что въ домѣ все хорошо; мнѣ казалось, въ немъ живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери въ комнату дяди Михаила, я видѣлъ, какъ тетка Наталья, вся въ бѣломъ, прижавъ руки ко груди, металась по комнатѣ, вскрикивая негромко, но страшно:

— Господи, прибери меня, уведи меня...

Молитва ея была мнѣ понятна, и я понималъ Григорія, когда онъ ворчалъ:

— Ослѣпну, по міру пойду, и то лучше будетъ...

Мнѣ хотѣлось, чтобы онъ ослѣпъ скорѣе, — я попросился бы въ поводыри къ нему, и ходили бы мы по міру вмѣстѣ. Я уже говорилъ ему объ этомъ; мастеръ, усмѣхаясь въ бороду, отвѣтилъ:

— Вотъ и ладно, и пойдемъ! А я буду оглашать въ

городѣ: это вотъ Василья Каширина, цехового старшины, внукъ, отъ дочери! Занятно будетъ...

Не однажды я видѣлъ подъ пустыми глазами тетки Натальи синія опухоли, на желтомъ лицѣ ея вспухшія губы. Я спрашивалъ бабушку:

— Дядя бьетъ ее?

Вздыхая, она отвѣчала:

— Бьетъ тихонько, анаѳема проклятый! Дѣдушка не велитъ бить ее, такъ онъ по ночамъ. Злой онъ, а она — кисель...

И разсказываетъ, воодушевляясь:

— Все-таки теперь ужъ не бьютъ такъ, какъ бивали! Ну, въ зубы ударитъ, въ ухо, за косы минуту потреплетъ, а, вѣдь, раньше-то часами истязали! Меня дѣдушка однова́ билъ на первый день Пасхи отъ обѣдни до вечера. Побьетъ — устанетъ, а отдохнувъ — опять. И вожжами, и всяко.

— За что?

— Не помню ужъ. А вдругорядь онъ меня избилъ до полусмерти да пятеро сутокъ ѣсть не давалъ, — еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онѣмѣнія: бабушка была вдвое крупнѣе дѣда, и не вѣрилось, что онъ можетъ одолѣть ее.

— Развѣ онъ сильнѣе тебя?

— Не сильнѣе, а старше! Кромѣ того, мужъ! За меня съ него Богъ спроситъ, а мнѣ заказано терпѣть...

Интересно и пріятно было видѣть, какъ она отирала пыль съ иконъ, чистила ризы; иконы были богатыя, въ жемчугахъ, серебрѣ и цвѣтныхъ каменьяхъ по вѣнчикамъ; она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрѣла на нее и говорила умиленно:

— Эко милое личико!...

Перекрестясь, цѣловала.

— Запылилася, окоптѣла, — ахъ ты, Мать всепо-

мощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба́-душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькія, а всякая отдѣльно стоитъ. Зовется это «Двѣнадцать праздниковъ», въ серединѣ же Божія Матерь Ѳеодоровская, предобрая. А это вотъ — «Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробѣ»...

Иногда мнѣ казалось, что она такъ же задушевно и серьезно играетъ въ иконы, какъ пришибленная сестра Катерина — въ куклы.

Она нерѣдко видала чертей, во множествѣ и въ одиночку.

— Иду какъ-то Великимъ постомъ, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдругъ вижу: верхомъ на крышѣ, около трубы, сидитъ черный, нагнулъ рогатую-то голову надъ трубой и нюхаетъ, фыркаетъ, большой, лохматый. Нюхаетъ да хвостомъ по крышѣ и возитъ, шаркаетъ. Я перекрестила его: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его», — говорю. Тутъ онъ взвизгнулъ тихонько и соскользнулъ кувыркомъ съ крыши-то во дворъ, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы въ этотъ день, онъ и нюхалъ, радуясь...

Я смѣюсь, представляя, какъ чортъ летитъ кувыркомъ съ крыши, и она тоже смѣется, говоря:

— Очень они любятъ озорство, совсѣмъ какъ малыя дѣти! Вотъ однажды стирала я въ банѣ, и дошло время до полуночи; вдругъ дверца каменки какъ отскочитъ! И посыпались оттуда они, малъ-мала меньше, красненькіе, зеленые, черные, какъ тараканы. Я — къ двери, — нѣтъ ходу; увязла средъ бѣсовъ, всю баню забили они, повернуться нельзя, подъ ноги лѣзутъ, дергаютъ, сжали такъ, что и окститься не могу! Мохнатенькіе, мягкіе, горячіе, въ родѣ котятъ, только на заднихъ лапахъ всѣ; кружатся, озоруютъ, зубенки мышиные скалятъ, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчатъ, хвостики поросячьи, — охъ ты, батюшки! Лиши-

лась памяти, вѣдь! А какъ воротилась въ себя, — свѣча еле горитъ, корыто простыло, стираное на полъ брошено. Ахъ, вы, думаю, раздуй васъ горой!

Закрывъ глаза, я вижу, какъ изъ жерла каменки, съ ея сѣрыхъ булыжниковъ густымъ потокомъ льются мохнатыя, пестрыя твари, наполняютъ маленькую баню, дуютъ на свѣчу, высовываютъ озорниковато розовые языки. Это тоже смѣшно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчитъ минуту и вдругъ снова точно вспыхнетъ вся.

— А то, проклятыхъ, видѣла я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я черезъ Дюковъ оврагъ, гдѣ, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яковъ да Михайло въ проруби въ прудѣ хотѣли утопить? Ну, вотъ, иду; только скувырнулась по тропѣ внизъ, на дно, ка-акъ засвиститъ, загикаетъ по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороныхъ мчится, и дородный такой чортъ въ красномъ колпакѣ, коломъ торчитъ, правитъ ими, на облучокъ всталъ, руки вытянулъ, держитъ вожжи изъ кованыхъ цѣпей. А по оврагу ѣзды не было, и летитъ тройка прямо въ прудъ, снѣжнымъ облакомъ прикрыта. И сидятъ въ саняхъ тоже все черти; свистятъ, кричатъ, колпаками машутъ, — да эдакъ-то семь троекъ проскакало, какъ пожарные, и всѣ кони вороной масти, и всѣ они — люди, проклятые отцами-матерьми; такіе люди чертямъ на потѣху идутъ, а тѣ на нихъ ѣздятъ, гоняютъ ихъ по ночамъ въ свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бѣсовскую видѣла...

Не вѣрить бабушкѣ нельзя, — она говоритъ такъ просто, убѣдительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о томъ, какъ Богородица ходила по мукамъ земнымъ, какъ Она увѣщебала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русскихъ людей; стихи про Алексѣя, Божія человѣка, про Ивана воина; сказки о премудрой

Василисѣ, о Попѣ-Козлѣ и Божьемъ крестникѣ; страшныя были о Марѳѣ Посадницѣ, о Бабѣ Устѣ, атаманѣ разбойниковъ, о Маріи, грѣшницѣ египетской, о печаляхъ матери разбойника; сказокъ, былей и стиховъ она знала безчисленно много.

Не боясь ни людей, ни дѣда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черныхъ тараканов, чувствуя ихъ даже на большомъ разстояніи отъ себя. Бывало, разбудитъ меня ночью и шепчетъ:

— Олёша, милый, тараканъ лѣзетъ, задави, Христа ради!

Сонный, я зажигалъ свѣчу и ползалъ по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мнѣ.

— Нѣтъ нигдѣ, — говорилъ я, а она, лежа неподвижно, съ головой закутавшись одѣяломъ, чуть слышно просила:

— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тутъ онъ, я ужъ знаю...

Она никогда не ошибалась, — я находилъ таракана гдѣ-нибудь далеко отъ кровати.

— Убилъ? Ну, слава Богу! А тебѣ спасибо...

И, сбросивъ одѣяло съ головы, облегченно вздыхала, улыбаясь.

Если я не находилъ насѣкомое, она не могла уснуть; я чувствовалъ, какъ вздрагиваетъ ея тѣло при малѣйшемъ шорохѣ въ ночной, мертвой тишинѣ, и слышалъ, что она, задерживая дыханіе, шепчетъ:

— Около порога онъ... подъ сундукъ поползъ...

— Отчего ты боишься таракановъ?

Она резонно отвѣчала:

— А непонятно мнѣ, на что они? Ползаютъ и ползаютъ, черные. Господь всякой тлѣ свою задачу задалъ: мокрица показываетъ, что въ домѣ сырость; клопъ, —

значитъ, стѣны грязныя; вошь нападаетъ, — нездоровъ будетъ человѣкъ, — все понятно! А эти, кто знаетъ, какая въ нихъ сила живетъ, на что они насылаются.

* * *

Однажды, когда она стояла на колѣняхъ, сердечно бесѣдуя съ Богомъ, дѣдъ, распахнувъ дверь въ комнату, сиплымъ голосомъ сказалъ:

— Ну, мать, посѣтилъ насъ Господь, — горимъ!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись съ пола, и оба, тяжко топая, бросились въ темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одѣвай ребятъ! — строго, крѣпкимъ голосомъ командовала бабушка, а дѣдъ тихонько вылъ:

— И-и-ы...

Я выбѣжалъ въ кухню; окно на дворъ сверкало точно золотое; по полу текли-скользили желтыя пятна; босой дядя Яковъ, одѣваясь, прыгалъ на нихъ, точно ему жгло подошвы, и кричалъ:

— Это Мишка поджогъ, поджогъ, да ушелъ, ага!

— Цыцъ, пёсъ, — сказала бабушка, толкнувъ его къ двери такъ, что онъ едва не упалъ.

Сквозь иней на стеклахъ было видно, какъ горитъ крыша мастерской, а за открытой дверью ея вихрится кудрявый огонь. Въ тихой ночи красные цвѣты его цвѣли бездымно; лишь очень высоко надъ ними колебалось темноватое облако, не мѣшая видѣть серебряный потокъ Млечнаго пути. Багрово свѣтился снѣгъ, и стѣны построекъ дрожали, качались, какъ будто стремясь въ жаркій уголъ двора, гдѣ весело игралъ огонь, заливая краснымъ широкія щели въ стѣнѣ мастерской, высовываясь изъ нихъ раскаленными кривыми гвоздями. По темнымъ доскамъ сухой крыши, быстро опутывая ее,

извивались золотыя, красныя ленты; среди нихъ крикливо торчала и курилась дымомъ гончарная тонкая труба; тихій трескъ, шолковый шелестъ бился въ стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изукрашенная имъ, становилась похожа на иконостасъ въ церкви и непобѣдимо вымапивала ближе къ себѣ.

Накинувъ на голову тяжелый полушубокъ, сунувъ ноги въ чьи-то сапоги, я выволокся въ сѣни, на крыльцо и обомлѣлъ, ослѣпленный яркой игрою огня, оглушенный криками дѣда, Григорія, дяди, трескомъ пожара, испуганный поведеніемъ бабушки: накинувъ на голову пустой мѣшокъ, обернувшись попоной, она бѣжала прямо въ огонь и сунулась въ него, вскрикивая:

— Купоросъ, дураки! Взорветъ купоросъ...

— Григорій, держи ее! — вылъ дѣдушка. — Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутыхъ рукахъ ведерную бутыль купороснаго масла.

— Отецъ, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите съ плечъ-то, — горю, али не видно!...

Григорій сорвалъ съ плечъ ея тлѣвшую попону и, переламываясь пополамъ, сталъ метать лопатою въ дверь мастерской большіе комья снѣга; дядя прыгалъ около него съ топоромъ въ рукахъ; дѣдъ бѣжалъ около бабушки, бросая въ нее снѣгомъ; она сунула бутыль въ сугробъ, бросилась къ воротамъ, отворила ихъ и, кланяясь вбѣжавшимъ людямъ, говорила:

— Амбаръ, сосѣди, отстаивайте! Перекинется огонь на амбаръ, на сѣновалъ, — наше все дотла сгоритъ, и ваше займется! Рубите крышу, сѣно — въ садъ! Григорій, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яковъ, не суетись, давай топоры людямъ, лопаты! Батюшки-сосѣди, беритесь дружнѣй, — Богъ вамъ нàпомочь.

Она была такъ же интересна, какъ и пожаръ; освѣщаемая огнемъ, который словно ловилъ ее, черную, она металась по двору, всюду поспѣвая, всѣмъ распоряжаясь, все видя.

На дворъ выбѣжалъ Шарапъ, вскидываясь на дыбы, подбрасывая дѣда; огонь ударилъ въ его большіе глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапѣла, уперлась передними ногами; дѣдушка выпустилъ поводъ изъ рукъ и отпрыгнулъ, крикнувъ:

— Мать, держи!

Она бросилась подъ ноги взвившагося коня, встала предъ нимъ крестомъ; конь жалобно заржалъ, потянулся къ ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басомъ сказала бабушка, похлопывая его по шеѣ и взявъ поводъ. — Али я тебя оставлю въ страхѣ этомъ? Охъ, ты, мышенокъ...

Мышенокъ, втрое бо́льшій ея, покорно шелъ за нею къ воротамъ и фыркалъ, оглядывая красное ея лицо.

Нянька Евгенья вывела изъ дома закутанныхъ, глухо мычавшихъ дѣтей и закричала:

— Василій Васильичъ, Лексѣя нѣтъ...

— Пошла, пошла! — отвѣтилъ дѣдушка, махая рукой, а я спрятался подъ ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали въ небо тонкія жерди стропилъ, курясь дымомъ, сверкая золотомъ углей; внутри постройки съ воемъ и трескомъ взрывались зеленые, синіе, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на дворъ, на людей, толпившихся предъ огромнымъ костромъ, кидая въ него снѣгъ лопатами. Въ огнѣ яростно кипѣли котлы, густымъ облакомъ поднимался паръ и дымъ, странные запахи носились по двору, выжимая слезы изъ глазъ: я выбрался изъ-подъ крыльца и попалъ подъ ноги бабушкѣ.

— Уйди! — крикнула она. — Задавятъ, уйди...

На дворъ ворвался верховой въ мѣдной шапкѣ съ гребнемъ. Рыжая лошадь брызгала пѣной, а онъ, высоко поднявъ руку съ плеткой, оралъ, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенѣли колокольчики, все было празднично-красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее въ этотъ часъ. Я ушелъ въ кухню, снова прильнулъ къ стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, — только мѣдные шлемы сверкаютъ среди зимнихъ черныхъ шапокъ и картузовъ.

Огонь быстро придавили къ землѣ, залили, затоптали, полиція разогнала народъ, и въ кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все ужъ кончилось...

Сѣла рядомъ со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дѣдъ вошелъ, остановился у порога и спросилъ:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Онъ зажегъ сѣрную спичку, освѣтивъ синимъ огнемъ свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрѣлъ свѣчу на столѣ и, не торопясь, сѣлъ рядомъ съ бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся въ сажѣ, пропахшая ѣдкимъ дымомъ.

Дѣдъ вздохнулъ:

— Милостивъ Господь бываетъ до тебя, большой тебѣ разумъ даетъ...

И, погладивъ ее по плечу, добавилъ, оскаливъ зубы:

— На краткое время, на часъ, а даетъ!...

Бабушка тоже усмѣхнулась, хотѣла что-то сказать, но дѣдъ нахмурился.

— Григорія разсчитать надо, — это его недосмотръ! Отработалъ мужикъ, отжилъ! На крыльцѣ Яшка сидитъ, плачетъ, дуракъ... Пошла бы ты къ нему...

Она встала и ушла, держа руку передъ лицомъ, дуя на пальцы, а дѣдъ, не глядя на меня, тихо спросилъ:

— Весь пожаръ видѣлъ, сначала? Бабушка-то какъ, а? Старуха, вѣдь... Бита, ломана... То-то же! Эхъ! вы-и...

Согнулся и долго молчалъ, потомъ всталъ и, снимая нагаръ со свѣчи пальцами, снова спросилъ:

— Боялся ты?

— Нѣтъ.

— И нечего бояться...

Сердито сдернувъ съ плечъ рубаху, онъ пошелъ въ уголъ, къ рукомойнику, и тамъ, въ темнотѣ, топнувъ ногою, громко сказалъ:

— Пожаръ — глупость! За пожаръ кнутомъ на площади надо бить погорѣльца; онъ — дуракъ, а то — воръ! Вотъ какъ надо дѣлать, и не будетъ пожаровъ!... Ступай, спи. Чего сидишь?

Я ушелъ, но спать въ эту ночь не удалось: только-что легъ въ постель, — меня вышвырнулъ изъ нея нечеловѣческій вой; я снова бросился въ кухню; среди нея стоялъ дѣдъ безъ рубахи, со свѣчой въ рукахъ; свѣча дрожала, онъ шаркалъ ногами по полу и, не сходя съ мѣста, хрипѣлъ:

— Мать, Яковъ, что это?

Я вскочилъ на печь, забился въ уголъ, а въ домѣ снова началась суетня; какъ на пожарѣ, волною бился въ потолокъ и стѣны размѣренный, все болѣе громкій, надсадный вой. Ошалѣло бѣгали дѣдъ и дядя, кричала

бабушка, выгоняя ихъ куда-то; Григорій грохоталъ дровами, набивая ихъ въ печь, наливалъ воду въ чугуны и ходилъ по кухнѣ, качая головою, точно астраханскій верблюдъ.

— Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка.

Онъ бросился за лучиной, нащупалъ мою ногу и безпокойно крикнулъ:

— Кто тутъ? Фу, испугалъ... Вездѣ ты, гдѣ не надо...

— Что это дѣлается?

— Тетка Наталья родитъ, — равнодушно сказалъ онъ, спрыгнувъ на полъ.

Мнѣ вспомнилось, что мать моя не кричала такъ, когда родила.

Поставивъ чугуны въ огонь, Григорій влѣзъ ко мнѣ на печь и, вынувъ изъ кармана глиняную трубку, показалъ мнѣ ее.

— Курить начинаю, для глазъ! Бабушка совѣтуетъ: нюхай, а я считаю, — лучше курить...

Онъ сидѣлъ на краю печи, свѣсивъ ноги, глядя внизъ, на бѣдный огонь свѣчи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видѣлъ его ребра, широкія, какъ обручи. Одно стекло очковъ было разбито, почти половинка стекла вывалилась изъ ободка, и въ дыру смотрѣлъ красный глазъ, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовымъ табакомъ, онъ прислушивался къ стонамъ роженицы и бормоталъ безсвязно, напоминая пьянаго:

— Бабушка-то обожглась-таки. Какъ она принимать будетъ? Ишь, какъ стенаетъ тетка! Забыли про нее; она, слышь, еще въ самомъ началѣ пожара корчиться стала — съ испугу... Вотъ оно, какъ трудно человѣка родить, а бабъ не уважаютъ! Ты запомни: бабъ надо уважать, матерей то-есть...

Я дремалъ и просыпался отъ возни, хлопанья дверей, пьяныхъ криковъ дяди Михаила; въ уши лѣзли странныя слова:

— Царскія двери отворить надо...

— Дайте ей масла лампаднаго съ ромомъ, да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи...

Дядя Михайло назойливо просилъ:

— Пустите меня поглядѣть...

Онъ сидѣлъ на полу, растопыривъ ноги, и плевалъ передъ собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слѣзъ, но когда поровнялся съ дядей, онъ поймалъ меня за ногу, дернулъ, и я упалъ, ударившись затылкомъ.

— Дуракъ, — сказалъ я ему.

Онъ вскочилъ на ноги, снова схватилъ меня и взревѣлъ, размахнувшись мною:

— Расшибу объ печку...

Очнулся я въ парадной комнатѣ, въ углу, подъ образами, на колѣняхъ у дѣда; глядя въ потолокъ, онъ покачивалъ меня и говорилъ негромко:

— Оправданія же намъ нѣтъ, никому...

Надъ головой его ярко горѣла лампада, на столѣ, среди комнаты, — свѣча, а въ окно уже смотрѣло мутное зимнее утро.

Дѣдъ спросилъ, наклонясь ко мнѣ:

— Что болитъ?

Все болѣло; голова у меня была мокрая, тѣло тяжелое, но не хотѣлось говорить объ этомъ, — все кругомъ было такъ странно: почти на всѣхъ стульяхъ комнаты сидѣли чужіе люди: священникъ въ лиловомъ, сѣдой старичокъ въ очкахъ и военномъ платьѣ, и еще много; всѣ они сидѣли неподвижно, какъ деревянные, застывъ въ ожиданіи, и слушали плескъ воды, гдѣ-то близко.

У косяка двери стоялъ дядя Яковъ, вытянувшись, спрятавъ руки за спину. Дѣдъ сказалъ ему:

— На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманилъ меня пальцемъ и пошелъ на цыпочкахъ къ двери бабушкиной комнаты, а когда я влѣзъ на кровать, онъ шепнулъ:

— Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня, — она уже давно жила невидимо, не выходя въ кухню, къ столу.

— А гдѣ бабушка?

— Тамъ, — отвѣтилъ дядя, махнувъ рукою, и ушелъ все такъ же на пальцахъ босыхъ ногъ.

Я лежалъ на кровати, оглядываясь. Къ стекламъ окна прижались чьи-то волосатыя, сѣдыя, слѣпыя лица; въ углу, надъ сундукомъ, виситъ платье бабушки, — я это зналъ, — но теперь казалось, что тамъ притаился кто-то живой и ждетъ. Спрятавъ голову подъ подушку, я смотрѣлъ однимъ глазомъ на дверь; хотѣлось выскочить изъ перины и бѣжать. Было жарко, душилъ густой тяжелый запахъ, напоминая, какъ умиралъ Цыганокъ, и по полу растекались ручьи крови; въ головѣ или сердцѣ росла какая-то опухоль; все, что я видѣлъ въ этомъ домѣ, тянулось сквозь меня, какъ зимній обозъ по улицѣ, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, въ комнату вползла бабушка, притворила дверь плечомъ, прислонилась къ ней спиною и, протянувъ руки къ синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-дѣтски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно...

V.

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечеромъ, когда, напившись чаю, мы съ дѣдомъ сѣли за псалтирь, а бабушка начала мыть посуду, въ комнату ворвался дядя Яковъ, растрепанный, какъ всегда, и странно похожій на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросивъ картузъ куда-то въ уголъ, онъ скороговоркой началъ, встряхиваясь, размахивая руками:

— Тятенька, Мишка буянитъ неестественно совсѣмъ! Обѣдалъ у меня, напился и началъ безобразное безуміе показывать: посуду перебилъ, изорвалъ въ клочья готовый заказъ — шерстяное платье, окна выбилъ, меня обидѣлъ, Григорія... Сюда идетъ, грозится: отцу, кричитъ, бороду выдеру, убью!... Вы смотрите...

Дѣдъ, упираясь руками въ столъ, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось къ носу, стало узкимъ и жуткимъ, похожее на топоръ.

— Слышишь, мать? — взвизгнулъ онъ. — Каково, а? Убить отца идетъ, чу, сынъ родной! А пора! Пора, ребята...

Онъ прошелся по комнатѣ, расправляя плечи, подошелъ къ двери, рѣзко закинулъ тяжелый крюкъ въ пробой и обратился къ Якову:

— Это вы все хотите Варварино приданое сцапать? На-те-ка!

Онъ сунулъ кукишъ подъ носъ дядѣ; тотъ обиженно отскочилъ:

— Тятенька, я-то при чемъ?

— Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки въ шкапъ.

— Я же защитить васъ пріѣхалъ...

— Ну? — насмѣшливо воскликнулъ дѣдъ. — Это хорошо! Спасибо, сынокъ! Мать, дай-ко-сь лисѣ этой чего-нибудь въ руку, — кочергу, хошь что ли, утюгъ! А ты, Яковъ Васильевъ, какъ вломится братъ, — бей его въ мою голову!...

Дядя сунулъ руки въ карманы и отошелъ въ уголъ.

— Коли вы мнѣ не вѣрите...

— Вѣрю? — крикнулъ дѣдъ, топнувъ ногой. — Нѣтъ, всякому звѣрю повѣрю, собакѣ, ежу, а тебѣ погожу! Знаю: ты его напоилъ, ты научилъ! Ну-ко, вотъ бей теперь! На выборъ бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мнѣ:

— Бѣги наверхъ, гляди въ окошко, а когда дядя Михайло покажется на улицѣ, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорѣе...

И вотъ я, немножко испуганный грозящимъ нашествіемъ буйнаго дяди, но гордый порученіемъ, возложеннымъ на меня, торчу въ окнѣ, осматривая улицу; широкая, она покрыта густымъ слоемъ пыли; сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжникъ. Налѣво она тянется далеко и, пересѣкая оврагъ, выходитъ на Острожную площадь, гдѣ крѣпко стоитъ на глинистой землѣ сѣрое зданіе съ четырьмя башнями по угламъ — старый острогъ; въ немъ есть что-то грустно-красивое, внушительное. Направо, черезъ три дома отъ нашего, широко развертывается Сѣнная площадь, замкнутая желтымъ корпусомъ арестантскихъ ротъ и пожарной каланчой свинцоваго цвѣта. Вокругъ глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторожъ, какъ собака на цѣпи. Вся площадь изрѣзана оврагами; въ одномъ на днѣ его стоитъ зеленоватая жижа, правѣе — тухлый

Дюковъ прудъ, куда, по разсказу бабушки, дядья зимою бросили въ прорубь моего отца. Почти противъ окна — переулокъ, застроенный маленькими пестрыми домиками; онъ упирается въ толстую, приземистую церковь Трехъ Святителей. Если смотрѣть прямо, — видишь крыши, точно лодки, опрокинутыя вверхъ дномъ въ зеленыхъ волнахъ садовъ.

Стертые вьюгами долгихъ зимъ, омытые безконечными дождями осени, слинявшіе дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся другъ къ другу, какъ нищіе на паперти, и тоже, вмѣстѣ со мною, ждутъ кого-то, подозрительно вытаращивъ окна. Людей немного, двигаются они неспѣша, подобно задумчивымъ тараканамъ на тепломъ шесткѣ печи. Душная теплота поднимается ко мнѣ; густо слышны нелюбимые мною запахи пироговъ съ зеленымъ лукомъ, съ морковью; эти запахи всегда вызываютъ у меня уныніе.

Скучно; скучно какъ-то особенно, почти невыносимо; грудь наливается жидкимъ, теплымъ свинцомъ, онъ давитъ изнутри, распираетъ грудь, ребра; мнѣ кажется, что я вздуваюсь, какъ пузырь, и мнѣ тѣсно въ маленькой комнаткѣ, подъ гробообразнымъ потолкомъ.

Вотъ онъ, дядя Михаилъ; онъ выглядываетъ изъ переулка, изъ-за угла сѣраго дома; нахлобучилъ картузъ на уши, и они оттопырились, торчатъ. На немъ рыжій пиджакъ и пыльные сапоги до колѣнъ, одна рука въ карманѣ клѣтчатыхъ брюкъ, другою онъ держится за бороду. Мнѣ не видно его лица, но онъ стоитъ такъ, словно собрался перепрыгнуть черезъ улицу и вцѣпиться въ дѣдовъ домъ черными мохнатыми руками. Нужно бѣжать внизъ, сказать, что онъ пришелъ, но я не могу оторваться отъ окна и вижу, какъ дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью сѣрые свои сапоги, переходитъ улицу, слышу, какъ онъ отворяетъ дверь кабака, — дверь визжитъ, дребезжатъ стекла.

Я бѣгу внизъ, стучусь въ комнату дѣда.

— Кто это? — грубо спрашиваетъ онъ, не открывая. — Ты? Ну? Въ кабакъ зашелъ? Ладно, ступай!

— Я боюсь тамъ...

— Потерпишь!

Снова я торчу въ окнѣ. Темнѣетъ; пыль на улицѣ вспухла, стала глубже, чернѣе; въ окнахъ домовъ масляно растекаются желтыя пятна огней; въ домѣ напротивъ музыка, множество струнъ поютъ грустно и хорошо. И въ кабакѣ тоже поютъ; когда отворится дверь, на улицу вытекаетъ усталый, надломленный голосъ; я знаю, что это голосъ кривого нищаго Никитушки, бородатаго старика съ краснымъ углемъ на мѣстѣ праваго глаза, а лѣвый плотно закрытъ. Хлопнетъ дверь и отрубитъ его пѣсню, какъ топоромъ.

Бабушка завидуетъ нищему: слушая его пѣсни, она говоритъ, вздыхая:

— Экой, вѣдь, благодатной, — какіе стихи знаетъ. Удача!

Иногда она зазываетъ его во дворъ; онъ сидитъ на крыльцѣ, опираясь на палку, и поетъ, сказываетъ, а бабушка — рядомъ съ нимъ, слушаетъ, разспрашиваетъ.

— Погоди-ка; да развѣ Божія Матерь и въ Рязани была?

И нищій говоритъ басомъ, увѣренно:

— Она вездѣ была, по всѣмъ губерніямъ...

Невидимо течетъ по улицѣ сонная усталость и жметъ, давитъ сердце, глаза. Какъ хорошо, если-бъ бабушка пришла! Или хотя бы дѣдъ. Что за человѣкъ былъ отецъ мой, почему дѣдъ и дядья не любили его, а бабушка, Григорій и нянька Евгенья говорятъ о немъ такъ хорошо? А гдѣ мать моя?

Я все чаще думаю о матери, ставя ее въ центръ всѣхъ сказокъ и былей, разсказанныхъ бабушкой. То, что мать не хочетъ жить въ своей семьѣ, все выше поднимаетъ

ее въ моихъ мечтахъ; мнѣ кажется, что она живетъ на постояломъ дворѣ при большой дорогѣ, у разбойниковъ, которые грабятъ проѣзжихъ богачей, и дѣлятъ награбленное съ нищими. Можетъ-быть, она живетъ въ лѣсу, въ пещерѣ, тоже, конечно съ добрыми разбойниками, стряпаетъ на нихъ и сторожитъ награбленное золото. А, можетъ, ходитъ по землѣ, считая ея сокровища, какъ ходила «князь-барыня» Енгалычева вмѣстѣ съ Божіей Матерью, и Богородица уговариваетъ мать мою, какъ уговаривала «князь-барыню»:

— Не собрать тебѣ, раба жадная,
Со всея земли злата, серебра;
Не прикрыть тебѣ, душа алчная,
Всѣмъ добромъ земли наготу твою . . .

И мать отвѣчаетъ ей словами «князь-барыни», разбойницы:

— Ты прости, Пресвятая Богородица,
Пожалѣй мою душеньку грѣшную.
Не себя ради міръ я грабила,
А, вѣдь, ради сына единаго! . . .

И Богородица, добрая, какъ бабушка, проститъ ее, скажетъ:

— Эхъ, ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой, ты, зла-бѣда христіанская!
А иди, ино, по своемъ пути —
И стезя твоя, и слеза твоя! —
Да не тронь хоть народа-то русскаго,
По лѣсамъ ходи да мордву зори,
По степямъ ходи, калмыка гони! . . .

Вспоминая эти сказки, я живу, какъ во снѣ; меня будитъ топотъ, возня, ревъ внизу, въ сѣняхъ, на дворѣ; высунувшись въ окно, я вижу, какъ дѣдъ, дядя Яковъ и работникъ кабатчика, смѣшной черемисинъ Мельянъ, выталкиваютъ изъ калитки на улицу дядю Михаила; онъ

упирается, его бьютъ по рукамъ, въ спину, шею, пинаютъ ногами, и, наконецъ, онъ стремглавъ летитъ въ пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремитъ щеколда и запоръ; черезъ ворота перекинули измятый картузъ; стало тихо.

Полежавъ немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, беретъ булыжникъ и мечетъ его въ ворота; раздается гулкій ударъ, точно по дну бочки. Изъ кабака лѣзутъ темные люди, орутъ, храпятъ, размахиваютъ руками; изъ оконъ домовъ высовываются человѣчьи головы, — улица оживаетъ, смѣется, кричитъ. Все это тоже какъ сказка, любопытная, но непріятная, пугающая.

И вдругъ все сотрется, всѣ замолчатъ, исчезнутъ.

...У порога, на сундукѣ, сидитъ бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою предъ ней и глажу ея теплыя, мягкія, мокрыя щеки, но она, видимо, не чувствуетъ этого и бормочетъ угрюмо:

— Господи, али не хватило у Тебя разума добраго на меня, на дѣтей моихъ? Господи, помилуй...

* *
*

Мнѣ кажется, что въ домѣ на Полевой улицѣ дѣдъ жилъ не болѣе года — отъ весны до весны, но и за это время домъ пріобрѣлъ шумную славу; почти каждое воскресенье къ нашимъ воротамъ сбѣгались мальчишки, радостно оповѣщая улицу:

— У Кашириныхъ опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечеромъ и всю ночь держалъ домъ въ осадѣ, жителей его въ трепетѣ; иногда съ нимъ приходило двое-трое помощниковъ, отбойныхъ кунавинскихъ мѣщанъ; они забирались изъ оврага въ садъ и хлопотали тамъ во всю ширь пьяной фантазіи, выдергивая кусты малины и смородины;

однажды они разнесли баню, переломавъ въ ней все, что можно было сломать: полокъ, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали нѣсколько половицъ, сорвали дверь, раму.

Дѣдъ, темный и нѣмой, стоялъ у окна, вслушиваясь въ работу людей, разорявшихъ его добро; бабушка бѣгала гдѣ-то по двору, невидимая въ темнотѣ, и умоляюще взывала:

— Миша, что ты дѣлаешь, Миша!

Изъ сада въ отвѣтъ ей летѣла идіотски-гнусная русская ругань, смыслъ которой явно недоступенъ разуму и чувству скотовъ, изрыгающихъ ее.

За бабушкой не угнаться въ эти часы, а безъ нея страшно; я спускаюсь въ комнату дѣда, но онъ хрипитъ встрѣчу мнѣ:

— Вонъ, ан-аѳема!

Я бѣгу на чердакъ и оттуда черезъ слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать изъ глазъ бабушку, боюсь, что ее убьютъ, и кричу, зову, она не идетъ, а пьяный дядя, услыхавъ мой голосъ, дико и грязно ругаетъ мать мою.

Однажды въ такой вечеръ дѣдъ былъ нездоровъ, лежалъ въ постели и, перекатывая по подушкѣ обвязанную полотенцемъ голову, крикливо жалобился:

— Вотъ оно, чего ради жили, грѣшили, добро копили! Кабы не стыдъ, не срамъ, позвать бы полицію, а завтра къ губернатору... Срамно! Какіе же это родители полиціей дѣтей своихъ травятъ? Ну, значитъ, лежи, старикъ.

Онъ вдругъ спустилъ ноги съ кровати, шатаясь, пошелъ къ окну, бабушка подхватила его подъ руки:

— Куда ты, куда?

— Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздухъ, приказалъ онъ.

А когда бабушка зажгла свѣчу, онъ взялъ подсвѣч-

никъ въ руки и, держа его предъ собою, какъ солдатъ ружье, закричалъ въ окно насмѣшливо и громко:

— Эй, Мишка, воръ ночной, бѣшеный песъ шелудивый.

Тотчасъ же въ дребезги разлетѣлось верхнее стекло окна, и на столъ около бабушки упала половинка кирпича.

— Не попалъ, — завылъ дѣдъ, и засмѣялся или заплакалъ.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

— Что ты, что ты, Христосъ съ тобою! Вѣдь, эдакъ-то — Сибирь ему; вѣдь, развѣ онъ пойметъ, въ ярости, что̀ Сибирь!...

Дѣдъ дрыгалъ ногами и рыдалъ сухо, хрипуче:

— Пускай убьетъ...

За окномъ рычало, топало, царапало стѣну. Я взялъ кирпичъ со стола, побѣжалъ къ окну; бабушка успѣла схватить меня и, швырнувъ въ уголъ, зашипѣла:

— Ахъ, ты, окаянный...

Въ другой разъ дядя, вооруженный толстымъ коломъ, ломился со двора въ сѣни дома, стоя на ступеняхъ чернаго крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дѣдушка, съ палкой въ рукахъ, двое постояльцевъ, съ какимъ-то дрекольемъ, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади ихъ топталась бабушка, умоляя:

— Пустите вы меня къ нему! Дайте слово сказать...

Дѣдъ стоялъ, выставивъ ногу впередъ, какъ мужикъ съ рогатиной на картинѣ «Медвѣжья охота»; когда бабушка подбѣгала къ нему, онъ молча толкалъ ее локтемъ и ногою. Всѣ четверо стояли, страшно приготовившись; надъ ними на стѣнѣ горѣлъ фонарь, нехорошо, судорожно освѣщая ихъ головы; я смотрѣлъ на все это

съ лѣстницы чердака, и мнѣ хотѣлось увести бабушку вверхъ.

Дядя ломалъ дверь усердно и успѣшно, она ходуномъ ходила, готовая соскочить съ верхней петли, — нижняя была уже отбита, — и противно звякала. Дѣдъ говорилъ соратникамъ своимъ тоже какимъ-то звякающимъ голосомъ:

— По рукамъ бейте, по ногамъ, пожалуйста, а по башкѣ не надо...

Рядомъ съ дверью въ стѣнѣ было маленькое окошко — только голову просунуть; дядя уже вышибъ стекло изъ него, и оно, утыканное осколками, чернѣло, точно выбитый глазъ.

Бабушка бросилась къ нему, высунула руку на дворъ и, махая ею, закричала:

— Миша, Христа-ради уйди! Изувѣчатъ тебя, уйди!

Онъ ударилъ ее коломъ по рукѣ; было видно, какъ, скользнувъ мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслѣдъ за этимъ и сама бабушка осѣла; опрокинулась на спину, успѣвъ еще крикнуть:

— Миш-ша, бѣги...

— А, мать? — страшно взвылъ дѣдъ.

Дверь распахнулась, въ черную дыру ея вскочилъ дядя и тотчасъ, какъ грязь лопатой, былъ сброшенъ съ крыльца.

Кабатчица отвела бабушку въ комнату дѣда; скоро и онъ явился туда, угрюмо подошелъ къ бабушкѣ.

— Кость цѣла?

— Охъ, переломилась, видно, — сказала бабушка, не открывая глазъ. — А съ нимъ что сдѣлали, съ нимъ?

— Уймись! — строго крикнулъ дѣдъ. — Звѣрь, что ли, я? Связали, въ сараѣ лежитъ. Водой окатилъ я его... Ну, золъ! Въ кого бы это?

Бабушка застонала.

— За костоправкой я послалъ, — ты потерпи! —

сказалъ дѣдъ, присаживаясь къ ней на постель. — Изведутъ насъ съ тобою, мать; раньше сроку изведутъ!

— Отдай ты имъ все...

— А Варвара?

Они говорили долго; бабушка — тихо и жалобно, онъ — крикливо, сердито.

Потомъ пришла маленькая старушка, горбатая, съ огромнымъ ртомъ до ушей; нижняя челюсть у нея тряслась, ротъ былъ открытъ, какъ у рыбы, и въ него черезъ верхнюю губу заглядывалъ острый носъ. Глазъ ея было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся въ рукѣ какой-то гремящій узелокъ.

Мнѣ показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочилъ къ ней и заоралъ во всю силу:

— Пошла вонъ!

Дѣдъ неосторожно схватилъ меня и весьма нелюбезно отнесъ на чердакъ...

VI.

Къ веснѣ дядья раздѣлились; Яковъ остался въ городѣ, Михаилъ уѣхалъ за рѣку, а дѣдъ купилъ себѣ большой интересный домъ на Полевой улицѣ, съ кабакомъ въ нижнемъ каменномъ этажѣ, съ маленькой уютной комнаткой на чердакѣ и садомъ, который опускался въ оврагъ, густо ощетинившійся голыми прутьями ивняка.

— Розогъ-то! — сказалъ дѣдъ, весело подмигнувъ мнѣ, когда, осматривая садъ, я шелъ съ нимъ по мягкимъ, протаявшимъ дорожкамъ. — Вотъ я тебя скоро грамотѣ начну учить, такъ онѣ годятся...

Весь домъ былъ тѣсно набитъ квартирантами; только въ верхнемъ этажѣ дѣдъ оставилъ большую комнату для себя и пріема гостей, а бабушка поселилась со мною на чердакѣ. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись черезъ подоконникъ, можно было видѣть, какъ вечерами и по праздникамъ изъ кабака вылѣзаютъ пьяные, шатаясь, идутъ по улицѣ, орутъ и падаютъ. Иногда ихъ выкидывали на дорогу, словно мѣшки, а они снова ломились въ дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивалъ блокъ, начиналась драка, — смотрѣть на все это сверху было очень занятно. Дѣдъ съ утра уѣзжалъ въ мастерскія сыновей, помогая имъ устраиваться; онъ возвращался вечеромъ усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась въ огородѣ и въ саду, вертѣлась цѣлый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачокъ, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

— Здравствуй, міръ честной, во вѣки-вѣковъ! Ну, вотъ, Олёша, голуба-душа, и зажили мы тихо-о! Слава Те, Царица небесная, ужъ такъ-то ли хорошо стало все!

А мнѣ не казалось, что мы живемъ тихо; съ утра до поздняго вечера на дворѣ и въ домѣ суматошно бѣгали квартирантки, то-и-дѣло являлись сосѣдки, всѣ куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, всѣ готовились къ чему-то и звали:

— Акулина Ивановна!

Всѣмъ улыбаясь одинаково ласково, ко всѣмъ мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большимъ пальцемъ табакъ въ ноздри, аккуратно вытирала носъ и палецъ краснымъ клѣтчатымъ платкомъ и говорила:

— Противъ вошей, сударыня моя, надо чаще въ банѣ мыться, мятнымъ паромъ надобно париться; а коли вошь подкожная, — берите гусинаго сала, чистѣйшаго, столовую ложку, чайную сулемы, три капли вѣскихъ ртути, разотрите все это семь разъ на блюдцѣ черепочкомъ фаянсовымъ и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть, — ртуть пропадетъ; мѣди, серебра не допускайте, — вредно!

Иногда она задумчиво совѣтовала:

— Вы, матушка, въ Печёры, къ Асафу-схимнику сходите, — не умѣю я отвѣтить вамъ.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лѣчила дѣтей, сказывала наизусть «Сонъ Богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные совѣты:

— Огурецъ самъ скажетъ, когда его солить пора; ежели онъ пересталъ землей и всякими чужими запахами пахнуть, тутъ вы его и берите. Квасъ нужно обидѣть, чтобы ядренъ былъ, разъярился; квасъ сладкаго не любитъ, такъ вы его изюмцемъ заправьте, а то сахару бросьте золотникъ на ведро. Варенцы дѣлаютъ разно:

есть дунайскій вкусъ и гишпанскій, а то еще — кавказскій...

Я весь день вертѣлся около нея въ саду, на дворѣ, ходилъ къ сосѣдкамъ, гдѣ она часами пила чай, непрерывно разсказывая всякія исторіи; я какъ бы приросъ къ ней и не помню, чтобъ въ эту пору жизни видѣлъ что-либо иное, кромѣ неугомонной, неустанно-доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрѣла на все холодными сѣрыми глазами, какъ зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаній о себѣ.

Однажды я спросилъ бабушку:

— Ты — колдунья?

— Ну, вотъ еще выдумалъ! — усмѣхнулась она и тотчасъ же задумчиво прибавила: — Гдѣ ужъ мнѣ: колдовство — наука трудная. А я вотъ и грамоты не знаю, — ни аза; дѣдушка-то вонъ какой грамотей ѣдучій, а меня не умудрила Богородица.

И открывала предо мною еще кусокъ своей жизни:

— Я, вѣдь, тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увѣчный человѣкъ; еще въ дѣвушкахъ ее баринъ напугалъ. Она ночью со страха выкинулась изъ окна, да бокъ себѣ и перебила, плечо ушибла тоже, съ того у нея рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барамъ не надобна, и дали они ей вольную, — живи-де, какъ сама знаешь, — а какъ безъ руки-то жить? Вотъ она и пошла по-міру, за милостью къ людямъ, а въ тà-пора люди-то богаче жили, добрѣе были, — славные балаханскіе плотники, да кружевницы, все напоказъ народъ! Ходимъ, бывало, мы съ ней, съ матушкой, зимой-осенью пò-городу, а какъ Гаврило архангелъ мечомъ

взмахнетъ, зиму отгонитъ, весна землю обыметъ, — такъ мы подальше, куда глаза поведутъ. Въ Муромѣ бывали, и въ Юрьевцѣ, и по Волгѣ вверхъ, и по тихой Окѣ. Весной-то да лѣтомъ хорошо по землѣ ходить, земля ласковая, трава бархатная; Пресвятая Богородица цвѣтами осыпала поля, тутъ тебѣ радость, тутъ ли сердцу просторъ! А матушка-то, бывало, прикроетъ синіе глаза, да какъ заведетъ пѣсню на великую высоту, — голосокъ у ней не силенъ былъ, а звонокъ, — и все кругомъ будто задремлетъ, не шелохнется, слушаетъ ее. Хорошо было Христа-ради жить! А какъ минуло мнѣ девять лѣтъ, зазорно стало матушкѣ по-міру водить меня, застыдилась она и осѣла на Балахнѣ; кувыркается по улицамъ изъ дома въ домъ, а на праздникахъ — по церковнымъ папертямъ собираетъ. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорѣе помочь матушкѣ-то; бывало, не удается чего, — слезы лью. Въ два года съ маленькимъ, гляди-ка ты, научилась дѣлу, да и въ славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчасъ къ намъ; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мнѣ праздникъ! Конечно, не мое мастерство, а матушкинъ указъ. Она хоть и объ одной рукѣ, сама-то не работница, такъ, вѣдь, показать умѣла. А хорошій указчикъ дороже десяти работниковъ. Ну, тутъ загордилась я: ты, молъ, матушка, бросай поміру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мнѣ: молчи-ка, знай: это тебѣ на приданое копится. Тутъ вскорѣ и дѣдушка насунулся, замѣтный парень былъ: двадцать два года, а ужъ водоливъ! Высмотрѣла меня мать его, видитъ: работница я, нищаго человѣка дочь, значитъ, смирной буду, н-ну... А была она калашница и злой души баба, не тѣмъ будь помянута... Эхма, что намъ про злыхъ вспоминать? Господь и Самъ ихъ видитъ; Онъ ихъ видитъ, а бѣсы любятъ.

И она смѣется сердечнымъ смѣшкомъ, носъ ея дро-

житъ уморительно, а глаза, задумчиво свѣтясь, ласкаютъ меня, говоря обо всемъ еще понятнѣе, чѣмъ слова.

* *
*

Помню, былъ тихій вечеръ; мы съ бабушкой пили чай въ комнатѣ дѣда; онъ былъ нездоровъ, сидѣлъ на постели безъ рубахи, накрывъ плечи длиннымъ полотенцемъ, и, ежеминутно отирая обильный потъ, дышалъ часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнѣли, лицо опухло, побагровѣло, особенно багровы были маленькія острыя уши. Когда онъ протягивалъ руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Былъ онъ кротокъ и не похожъ на себя.

— Что мнѣ сахару не даешь? — капризнымъ тономъ балованнаго ребенка спрашивалъ онъ бабушку. Она отвѣчала ласково, но твердо:

— Съ медомъ пей, это тебѣ лучше!

Задыхаясь, крякая, онъ быстро глоталъ горячій чай и говорилъ:

— Ты гляди, не помереть бы мнѣ!

— Не бойся, догляжу.

— То-то! Теперь помереть, это какъ бы вовсе и не жилъ, — все прахомъ пойдетъ.

— А ты не говори, лежи нѣмо.

Съ минуту онъ молчалъ, закрывъ глаза, покручивая тонкіе волосы бороды, почмокивая темными губами, и вдругъ, точно уколотый, встряхивался, соображалъ вслухъ.

— Яшку съ Мишкой женить надобно какъ можно скорѣй; можетъ, жены да новыя дѣти попридержатъ ихъ, — а?

И вспоминалъ, у кого въ городѣ есть подходящія невѣсты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидѣлъ у окна, глядя, какъ рдѣетъ надъ городомъ

вечерняя заря и краснò сверкаютъ стекла въ окнахъ домовъ, — дѣдушка запретилъ мнѣ гулять по двору и саду за какую-то провинность.

Въ саду, вокругъ березъ, гудя, летали жуки, бондарь работалъ на сосѣднемъ дворѣ, гдѣ-то близко точили ножи; за садомъ, въ оврагѣ, шумно возились ребятишки, путаясь среди густыхъ кустовъ. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась въ сердце.

Вдругъ дѣдушка, доставъ откуда-то новенькую книжку, громко шлепнулъ ею по ладони и бодро позвалъ меня:

— Ну-ка, ты, пермякъ, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — азъ. Говори: азъ! Буки! Вѣди! Это — что?

— Буки.

— Попалъ! Это?

— Вѣди.

— Врешь, азъ! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?

— Добро.

— Попалъ! Это?

— Глаголь.

— Вѣрно! А это?

— Азъ.

Вступилась бабушка:

— Лежалъ бы ты, отецъ, смирно...

— Стой, молчи! Это мнѣ впору, а то меня мысли одолѣваютъ. Валяй, Лексѣй!

Онъ обнялъ меня за шею горячей, влажной рукою и черезъ плечо мое тыкалъ пальцемъ въ буквы, держа книжку подъ носомъ моимъ. Отъ него жарко пахло уксусомъ, потомъ и печенымъ лукомъ, я почти задыхался, а онъ, приходя въ ярость, хрипѣлъ и кричалъ въ ухо мнѣ:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянскіе знаки не отвѣчали имъ: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулаго Григорія, «я» — на бабушку со мною, а въ дѣдушкѣ было что-то общее со всѣми буквами азбуки. Онъ долго гонялъ меня по алфавиту, спрашивая и врядъ, и вразбивку; онъ заразилъ меня своей горячей яростью, я тоже вспотѣлъ и кричалъ во все горло. Это смѣшило его; хватаясь за грудь, кашляя, онъ мялъ книгу и хрипѣлъ:

— Мать, ты гляди, какъ взвился, а? Ахъ, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Мнѣ весело было смотрѣть на него и на бабушку: она, облокотясь о столъ, упираясь кулакомъ въ щеки, смотрѣла на насъ и негромко смѣялась, говоря:

— Да будетъ вамъ надрываться-то!...

Дѣдъ объяснялъ мнѣ дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего, чудило?

И говорилъ бабушкѣ, встряхивая мокрой головою:

— А невѣрно поняла покойница Наталья, что памяти у него нѣту; память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курносъ!

Наконецъ, онъ шутливо столкнулъ меня съ кровати.

— Будетъ! Держи книжку. Завтра ты мнѣ всю азбуку безъ ошибки скажешь, и за это я тебѣ дамъ пятакъ...

Когда я протянулъ руку за книжкой, онъ снова привлекъ меня къ себѣ и сказалъ угрюмо:

— Бросила тебя мать-то поверхъ земли, братъ...

Бабушка встрепенулась:

— Ай, отецъ, почто ты говоришь эдакъ?...

— Не сказалъ бы, — горе нудитъ... Эхъ, какая дѣвка заплуталась...

Онъ рѣзко оттолкнулъ меня.

— Иди, гуляй! На улицу не смѣй, а по двору да въ саду...

Мнѣ именно и нужно было въ садъ: какъ только я появлялся въ немъ, на горкѣ, — мальчишки изъ оврага начинали метать въ меня камнями, а я съ удовольствіемъ отвѣчалъ имъ тѣмъ же.

— Бырь пришелъ! — кричали они, завидя меня и поспѣшно вооружаясь. — Лупи его!

Я не зналъ, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было пріятно отбиваться одному противъ многихъ, пріятно видѣть, когда мѣтко брошенный тобою камень заставляетъ врага бѣжать, прятаться въ кусты. Велись эти сраженія беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мнѣ легко, дѣдушка смотрѣлъ на меня все внимательнѣе и все рѣже сѣкъ, хотя, по моимъ соображеніямъ, сѣчь меня слѣдовало чаще прежняго: становясь взрослѣе и бойчѣй, я гораздо чаще сталъ нарушать дѣдовы правила и наказы, а онъ только ругался да замахивался на меня.

Мнѣ подумалось, что, пожалуй, раньше-то онъ меня напрасно билъ, и я однажды сказалъ ему это.

Легкимъ толчкомъ въ подбородокъ онъ приподнялъ голову мою и, мигая, протянулъ:

— Чего-о?

И дробно засмѣялся, говоря:

— Ахъ, ты, еретикъ! Да какъ ты можешь сосчитать, сколько тебя сѣчь надобно? Кто можетъ знать это, кромѣ меня? Сгинь, пошелъ!

Но тотчасъ же схватилъ меня за плечо и снова, заглянувъ въ глаза, спросилъ:

— Хитеръ ты али простодушенъ, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, такъ я тебѣ скажу: будь хитеръ,

это лучше, а простодушность — та же глупость, понялъ? Баранъ простодушенъ. Запомни! Айда, гуляй...

*   *
*

Вскорѣ я уже читалъ по складамъ Псалтирь; обыкновенно этимъ занимались послѣ вечерняго чая, и каждый разъ я долженъ былъ прочитать псаломъ.

— Буки-люди-азъ-ла-бла; живе-те-иже-же-блаже; нашъ-ернъ-блаженъ, — выговаривалъ я, водя указкой по страницѣ, и, отъ скуки, спрашивалъ:

— Блаженъ мужъ, — это дядя Яковъ?

— Вотъ я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блаженъ мужъ! — сердито фыркая, говорилъ дѣдъ, но я чувствовалъ, что онъ сердится только по привычкѣ, для порядка.

И почти никогда не ошибался: черезъ минуту дѣдъ, видимо, забывъ обо мнѣ, ворчалъ:

— Н-да, по игрѣ да пѣснямъ онъ — царь Давидъ, а по дѣламъ Авессаломъ — ядовитъ! Пѣснотворецъ, словотёръ, балагуръ... Эхъ, вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вотъ, далекò ли?

Я переставалъ читать, прислушиваясь, поглядывая въ его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрѣли куда-то черезъ меня, въ нихъ свѣтилось грустное, теплое чувство, и я уже зналъ, что сейчасъ обычная суровость дѣда таетъ въ немъ. Онъ дробно стучалъ тонкими пальцами по столу, блестѣли окрашенные ногти, шевелились золотыя брови.

— Дѣдушка!

— Ась?

— Разскажите что-нибудь.

— А ты читай, лѣнивый мужикъ! — ворчливо говорилъ онъ, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасенки любишь, а Псалтирь не любишь...

Но я подозрѣвалъ, что онъ и самъ любитъ побасенки больше Псалтиря; онъ зналъ его почти весь на память, прочитывая, по обѣту, каждый вечеръ, передъ сномъ, каѳизму вслухъ и такъ, какъ дьячки въ церкви читаютъ Часословъ.

Я усердно просилъ его, и старикъ, становясь все мягче, уступалъ мнѣ.

— Ну, инъ, ладно! Псалтирь навсегда съ тобой останется, а мнѣ скоро къ Богу на судъ итти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку стариннаго кресла и все плотнѣе прижимаясь къ ней, вскинувъ голову, глядя въ потолокъ, онъ тихо и задумчиво разсказывалъ про старину, про своего отца: однажды пріѣхали въ Балахну разбойники грабить купца Заева, дѣдовъ отецъ бросился на колокольню бить набатъ, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили внизъ изъ-подъ колоколовъ.

— Я о̀ ту пору малъ-ребенокъ былъ, дѣла этого не видѣлъ, не помню; помнить себя я началъ отъ француза, въ двѣнадцатомъ году, мнѣ какъ-разъ двѣнадцать лѣтъ минуло. Пригнали тогда въ Балахну нашу десятка три плѣнниковъ; все народъ сухонькой, мелкой; одѣты кто въ чемъ, хуже нищей братіи, дрожатъ, а которые и поморожены, стоять не въ силѣ. Мужики хотѣли-было насмерть перебить ихъ, да конвой не далъ, гарнизонные вступились, разогнали мужиковъ по дворамъ. А послѣ ничего, привыкли всѣ; французы эти — народъ ловкой, догадливый; довольно даже веселые, — пѣсни, бывало, поютъ. Изъ Нижняго баре пріѣзжали на тройкахъ глядѣть плѣнныхъ; пріѣдутъ, и одни ругаютъ, кулаками французамъ грозятъ, бивали даже; другіе — разговариваютъ мило на ихнемъ языкѣ, денегъ даютъ и всякой хурды-мурды теплой. А одинъ баринъ-старичокъ закрылъ лицо руками и заплакалъ: въ конецъ, — говоритъ, — погубилъ француза злодѣй Бонапартъ! Вотъ, видишь,

какъ: русскій былъ, и даже баринъ, а добрый: чужой народъ пожалѣлъ...

Съ минуту онъ молчитъ, закрывъ глаза, приглаживая ладонями волоса, потомъ продолжаетъ, будя прошлое съ осторожностью.

— Зима, метель метётъ по улицѣ, морозъ избы жметъ, а они, французы, бѣгутъ, бывало, подъ окошко наше, къ матери, — она калачи пекла да продавала, — стучатъ въ стекло, кричатъ, прыгаютъ, горячихъ калачей просятъ. Мать въ избу-то не пускала ихъ, а въ окно сунетъ калачъ, такъ французъ схватитъ да за пазуху его, съ пылу, горячій — прямо къ тѣлу, къ сердцу; ужъ какъ они терпѣли это, — нельзя понять! Многіе поумирали отъ холода, они — люди теплой стороны, морозъ имъ не привыченъ. У насъ въ банѣ, на огородѣ, двое жили, офицеръ съ денщикомъ Мирономъ; офицеръ былъ длинный, худущій, кости да кожа, въ салопѣ бабьемъ ходилъ, такъ салопъ по колѣни ему. Очень ласковъ былъ и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, такъ онъ купитъ, напьется и пѣсни поетъ. Выучился по-нашему, лопочетъ, бывало: вашъ сторона нѣтъ бѣлый, онъ — черный, злой! Плохо говорилъ, а понять можно, и вѣрно это: верховые края наши не ласковы, ниже-то по Волгѣ теплѣй земля, а по за Каспіемъ, будто, и вовсе снѣгу не бываетъ. Въ это можно повѣрить: ни въ Евангеліи, ни въ Дѣяніяхъ, ни того паче во Псалтири про снѣгъ, про зиму не упоминается, а мѣста житія Христова — въ той сторонѣ... Вотъ Псалтирь кончимъ, начну я съ тобой Евангеліе читать.

Онъ снова молчитъ, точно задремалъ; думаетъ о чемъ-то, смотритъ въ окно, скосивъ глаза, маленькій и острый весь.

— Разсказывайте, — напоминаю я тихонько.

— Ну, вотъ, — вздрогнувъ, начинаетъ онъ, — французы, значитъ! Тоже люди, не хуже насъ, грѣшныхъ.

Бывало матери-то кричать: мадама, мадама, — это, стало-быть, моя дама, барыня моя, а барыня-то изъ лабаза на себѣ мѣшокъ муки носила по пяти пудовъ вѣсу. Силища была у нея неженская, до двадцати годовъ меня за волосья трясла очень легко, а въ двадцать-то годовъ я самъ неплохъ былъ. А денщикъ этотъ, Миронъ, лошадей любилъ: ходитъ по дворамъ и знаками проситъ, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортитъ, врагъ; а послѣ сами мужики стали звать его: айда, Миронъ! Онъ усмѣхнулся, наклонивъ голову и быкомъ идетъ. Рыжій былъ даже до̀красна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходилъ за лошадьми и умѣлъ чудесно лѣчить ихъ; послѣ здѣсь, въ Нижнемъ, коноваломъ былъ, да сошелъ съ ума, и забили его пожарные до-смерти. А офицеръ къ веснѣ чахнуть началъ и въ день Николы вешняго померъ тихо: сидѣлъ, задумавшись, въ банѣ подъ окномъ, да такъ и скончался, высунувъ голову на волю. Мнѣ его жалко было, я даже поплакалъ тихонько о немъ; нѣжнымъ онъ былъ, возьметъ меня за уши и говоритъ ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человѣчью ласку на базарѣ не купишь. Сталъ-было онъ своимъ словамъ учить меня, да мать запретила, даже къ попу водила меня, а попъ высѣчь велѣлъ и на офицера жаловался. Тогда, братъ, жили строго, тебѣ ужъ этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вотъ я, примѣрно, я такое испыталъ...

Стемнѣло. Въ сумракѣ дѣдъ странно увеличился; глаза его свѣтятся, точно у кота. Обо всемъ онъ говоритъ негромко, осторожно, задумчиво, а про себя — горячо, быстро и хвалебно. Мнѣ не нравится, когда онъ говоритъ о себѣ, не нравятся его постоянные приказы:

— Запомни! Ты это запомни!

Многое изъ того, что онъ разсказывалъ, не хотѣлось помнить, но оно и безъ приказаній дѣда насильно вторгалось въ память болѣзненной занозой. Онъ никогда не

разсказывалъ сказокъ, а все только бывалое, и я замѣтилъ, что онъ не любитъ вопросовъ; поэтому я настойчиво разспрашивалъ его:

— А кто лучше: французы или русскіе?

— Ну, какъ это знать? Я, вѣдь, не видалъ, каково французы у себя дома живутъ, — сердито ворчитъ онъ и добавляетъ:

— Въ своей норѣ и хорекъ хорошъ..

— А русскіе хорошіе?

— Со всячинкой. При помѣщикахъ лучше были; кованый былъ народъ. А теперь вотъ всѣ на волѣ, — ни хлѣба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у нихъ разума больше накоплено; не про всѣхъ это скажешь, но коли баринъ хорошъ, такъ ужъ залюбуешься! А иной и баринъ, да муракъ, какъ мѣшокъ, — что въ него сунутъ, то и несетъ. Скорлупы у насъ много; взглянешь — человѣкъ, а узнаешь, — скорлупа одна, ядра-то нѣтъ, съѣдено. Надо бы насъ учить, умъ точить, а точила тоже нѣтъ настоящаго...

— Русскіе сильные?

— Есть силачи, да не въ силѣ дѣло, — въ ловкости; силы сколько ни имѣй, а лошадь все сильнѣй.

— А зачѣмъ французы насъ воевали?

— Ну, война — дѣло царское, намъ это недоступно понять!

Но на мой вопросъ, кто таковъ былъ Бонапартъ, дѣдъ памятно отвѣтилъ:

— Былъ онъ лихой человѣкъ, хотѣлъ весь міръ повоевать и чтобы послѣ того всѣ одинаково жили, ни господъ, ни чиновниковъ не надо, а просто: живи безъ сословія! Имена только разныя, а права одни для всѣхъ. И вѣра одна. Конечно, это глупость: только раковъ нельзя различить, а рыба — вся разная: осетръ сому не товарищъ, стерлядь селедкѣ не подруга. Бонапарты эти и у насъ бывали, — Разинъ Степанъ Тимоѳеевъ,

Пугачъ Емельянъ Ивановъ; я те про нихъ послѣ скажу...

Иногда онъ долго и молча разглядывалъ меня, округли́въ глаза, какъ-будто впервые замѣтивъ. Это было непріятно.

И никогда не говорилъ со мною объ отцѣ моемъ, о матери.

* *
*

Нерѣдко на эти бесѣды приходила бабушка, тихо садилась въ уголокъ, долго сидѣла тамъ молча, невидная, и вдругъ спрашивала, мягко обнимавшимъ голосомъ:

— А помнишь, отецъ, какъ хорошо было, когда мы съ тобой въ Муромъ на богомолье ходили? Въ какомъ, бишь, это году?...

Подумавъ, дѣдъ обстоятельно отвѣчалъ:

— Точно не скажу, а было это до холеры, въ годъ, когда олончанъ ловили по лѣсамъ.

— А вѣрно! Еще боялись мы ихъ...

— То-то.

Я спрашивалъ: кто такіе олончане и отчего они бѣгали по лѣсамъ, — дѣдъ не очень охотно объяснялъ:

— Олончане — просто мужики, а бѣгали изъ казны, съ заводовъ, отъ работы.

— А какъ ихъ ловили?

— Ну, какъ? Какъ мальчишки играютъ: одни — бѣгутъ, другіе — ловятъ, ищутъ. Поймаютъ, плетями бьютъ, кнутомъ; ноздри рвали тоже, клейма на лобъ ставили для отмѣтки, что наказанъ.

— За что?

— За спросъ. Это — дѣла неясныя, и кто виноватъ: тотъ ли, кто бѣжитъ, али тотъ, кто ловитъ, — намъ не понять...

— А помнишь, отецъ, — снова говоритъ бабушка, — какъ послѣ большого пожара...

Любя во всемъ точность, дѣдъ строго спрашиваетъ:

— Котораго большого?

Уходя въ прошлое, они забывали обо мнѣ. Голоса и рѣчи ихъ звучатъ негромко и такъ ладно, что иногда кажется, точно они пѣсню поютъ, невеселую пѣсню о болѣзняхъ, пожарахъ, избіеніи людей, о нечаянныхъ смертяхъ и ловкихъ мошенничествахъ, о юродивыхъ Христаради, о сердитыхъ господахъ.

— Сколько прожито, сколько видано! — тихонько бормоталъ дѣдъ.

— Али плохо жили? — говорила бабушка. — Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна послѣ того, какъ я Варю родила!

— Это — въ 48-мъ году, въ самый венгерскій походъ; кума-то Тихона на другой день послѣ крестинъ и погнали...

— И пропалъ, — вздыхаетъ бабушка.

— И пропалъ, да! Съ того года Божья благостыня, какъ вода на плотъ, въ домъ намъ потекла. Эхъ, Варвара...

— А ты полно, отецъ...

Онъ сердился, хмурился.

— Чего полно? Не удались дѣти-то, съ коей стороны ни взгляни на нихъ. Куда сокъ-сила наша пошла? Мы съ тобой думали, — въ лукошко кладемъ, а Господь-отъ вложилъ въ руки намъ худое рѣшето...

Онъ вскрикивалъ и, точно обожженный, бѣгалъ по комнатѣ, болѣзненно покрякивая, ругая дѣтей, грозя бабушкѣ маленькимъ сухимъ кулакомъ.

— А все ты потакала имъ, татямъ, потатчица! Ты, вѣдьма!

Въ горестномъ возбужденіи доходя до слезливаго

воя, совался въ уголъ, къ образамъ, билъ съ размаха въ сухую, гулкую грудь:

— Господи, али я грѣшнѣй другихъ? За что-о?

И весь дрожалъ, обиженно и злобно сверкая мокрыми, въ слезахъ, глазами.

Бабушка, сидя въ темнотѣ, молча крестилась, потомъ, осторожно подойдя къ нему, уговаривала:

— Ну, что ужъ ты растосковался такъ? Господь знаетъ, что дѣлаетъ. У многихъ ли дѣти лучше нашихъ-то? Вездѣ, отецъ, одно и то же, — споры да распри, да томаша. Всѣ отцы-матери грѣхи свои слезами омываютъ, не ты одинъ...

Иногда эти рѣчи успокаивали его, онъ молча, устало валился въ постель, а мы съ бабушкой тихонько уходили къ себѣ на чердакъ.

Но однажды, когда она подошла къ нему съ ласковой рѣчью, онъ быстро повернулся и съ размаху хряско ударилъ ее кулакомъ въ лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногахъ, приложивъ руку къ губамъ, окрѣпла и сказала негромко, спокойно:

— Эхъ, дуракъ...

И плюнула кровью подъ ноги ему, а онъ дважды протяжно взвылъ, поднявъ обѣ руки:

— Уйди, убью!

— Дуракъ, — повторила бабушка, отходя отъ двери; дѣдъ бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порогъ и захлопнула дверь предъ лицомъ его.

— Старая шкура, — шипѣлъ дѣдъ, багровый, какъ уголь, держась за косякъ, царапая его пальцами.

Я сидѣлъ на лежанкѣ ни живъ, ни мертвъ, не вѣря тому, что видѣлъ: впервые при мнѣ онъ ударилъ бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое въ немъ, — такое, съ чѣмъ нельзя было примириться, и что какъ будто раздавило меня. А онъ все стоялъ, вцѣпившись въ косякъ и, точно пепломъ покры-

ваясь, сѣрѣлъ, съеживался. Вдругъ вышелъ на средину комнаты, всталъ на колѣни и, не устоявъ, ткнулся впередъ, коснувшись рукою пола, но тотчасъ выпрямился, ударилъ себя руками въ грудь:

— Ну, Господи...

Я съѣхалъ съ теплыхъ изразцовъ лежанки, какъ по льду, бросился вонъ; наверху бабушка, расхаживая по комнатѣ, полоскала ротъ.

— Тебѣ больно?

Она отошла въ уголъ, выплюнула воду въ помойное ведро и спокойно отвѣтила:

— Ничего, зубы цѣлы, губу разбилъ только.

— За что онъ?

Выглянувъ въ окно на улицу, она сказала:

— Сердится, трудно ему, старому, неудачи все... Ты ложись съ Богомъ, не думай про это...

Я спросилъ ее еще о чемъ-то, но она необычно строго крикнула:

— Кому я говорю, — ложись! Неслухъ какой...

Сѣла у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать въ платокъ. Раздѣваясь, я смотрѣлъ на нее: въ синемъ квадратѣ окна надъ черной ея головою сверкали звѣзды. На улицѣ было тихо, въ комнатѣ — темно.

Когда я легъ, она подошла и, тихонько погладивъ голову мою, сказала:

— Спи спокойно, а я къ нему спущусь... Ты меня не больно жалѣй, голубá-душа, я, вѣдь, тоже, поди-ка, и сама виновата... Спи!

Поцѣловавъ меня, она ушла, а мнѣ стало нестерпимо грустно, я выскочилъ изъ широкой, мягкой и жаркой кровати, подошелъ къ окну и, глядя внизъ на пустую улицу, окаменѣлъ въ невыносимой тоскѣ.

VII.

Я очень рано понялъ, что у дѣда — одинъ Богъ, а у бабушки — другой; нельзя было не понять этого, — разница слишкомъ рѣзко бросалась въ глаза.

Бывало, проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешетъ гребнемъ свои удивительные волосы, дергаетъ головою, вырываетъ, сцѣпивъ зубы, цѣлыя пряди длинныхъ черныхъ шелковинокъ и ругаетъ шопотомъ, чтобъ не разбудить меня:

— А, пострѣли васъ! Колтунъ вамъ, окаянные...

Кое-какъ распутавъ ихъ, она быстро заплетаетъ толстыя косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смывъ раздраженія съ большого, измятаго сномъ, лица, встаетъ передъ иконами, — вотъ тогда и начиналось настоящее утреннее омовеніе, сразу освѣжавшее всю ее.

Выпрямивъ сутулую спину, вскинувъ голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божіей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица Преславная, подай милости Твоея на грядущій день, Матушка.

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячѣй и умиленнѣе:

— Радости источникъ, Красавица Пречистая, яблоня во цвѣту!...

Она почти каждое утро находила новыя слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться въ молитву ея съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покровъ, солнышко золотое, Мати Господня, охрани отъ

наважденія злаго, не дай обидѣть никого, и меня бы не обижали зря!

Съ улыбкой въ темныхъ глазахъ и какъ-будто помолодѣвшая, она снова крестилась медленными движеніями тяжелой руки.

— Исусе Христе, Сыне Божій, буди милостивъ ко мнѣ, грѣшницѣ, Матери Твоея ради...

Всегда ея молитва была акаѳистомъ, хвалою искренней и простодушной.

Утромъ она молилась недолго: нужно было ставить самоваръ, прислуги дѣдъ уже не держалъ, и если бабушка опаздывала приготовить чай къ сроку, установленному имъ, онъ долго и сердито ругался.

Иногда онъ, проснувшись раньше бабушки, всходилъ на чердакъ и, заставая ее за молитвой, слушалъ нѣкоторое время ея шопотъ, презрительно кривя тонкія темныя губы, а за чаемъ ворчалъ:

— Сколько я тебя, дубовая голова, училъ, какъ надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Какъ только терпитъ тебя Господь!

— Онъ пойметъ, — увѣренно отвѣчала бабушка. — Ему что ни говори! — Онъ разберетъ...

— Чуваша проклятая! Эхъ, вы-и...

Ея Богъ былъ весь день съ нею, она даже животнымъ говорила о Немъ. Мнѣ было ясно, что этому Богу легко и покорно подчиняется все: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; Онъ ко всему на землѣ былъ одинаково добръ, одинаково близокъ.

Однажды балованный котъ кабатчицы, хитрый сластена и подхалимъ, дымчатый, золотоглазый, любимецъ всего двора, притащилъ изъ сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

— Бога ты не боишься, злодѣй подлый!

Кабатчица и дворникъ посмѣялись надъ этими словами, но бабушка гнѣвно закричала на нихъ:

— Думаете: скоты Бога не понимаютъ? Всякая тварь понимаетъ это, не хуже васъ, безжалостные…

Запрягая ожирѣвшаго, унылаго Шарапа, она бесѣдовала съ нимъ:

— Что ты скученъ, Боговъ работникъ, а? Старенькій ты…

Конь вздыхалъ, мотая головою.

И все-таки имя Божіе она произносила не такъ часто, какъ дѣдъ. Бабушкинъ Богъ былъ понятенъ мнѣ и не страшенъ, но предъ нимъ нельзя было лгать, — стыдно. Онъ вызывалъ у меня только непобѣдимый стыдъ, и я никогда не лгалъ бабушкѣ. Было просто невозможно скрыть что-либо отъ этого добраго Бога, и, кажется, даже не возникало желанія скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись съ дѣдомъ, изругала заодно съ нимъ и бабушку, не принимавшую участія въ ссорѣ, изругала злобно и даже бросила въ нее морковью.

— Ну, и дура вы, сударыня моя, — спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обидѣлся и рѣшилъ отомстить злодѣйкѣ.

Я долго измышлялъ, чѣмъ бы уязвить больнѣе эту рыжую толстую женщину съ двойнымъ подбородкомъ и безъ глазъ.

По наблюденіямъ моимъ надъ междоусобицами жителей, я зналъ, что они, мстя другъ другу за обиды, рубятъ хвосты кошкамъ, травятъ собакъ, убиваютъ пѣтуховъ и куръ или, забравшись ночью въ погребъ врага, наливаютъ керосинъ въ кадки съ капустой и огурцами, выпускаютъ квасъ изъ бочекъ, — но все это мнѣ не нравилось; нужно было придумать что-нибудь болѣе внушительное и страшное.

Я придумалъ: подстерегъ, когда кабатчица спустилась въ погребъ, закрылъ надъ нею творило, заперъ его, сплясалъ на немъ танецъ мести и, забросивъ ключъ на

крышу, стремглавъ прибѣжалъ въ кухню, гдѣ стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторгъ, а, понявъ, нашлепала меня, гдѣ подобаетъ, вытащила на дворъ и послала на крышу за ключомъ. Удивленный ея отношеніемъ, я молча досталъ ключъ и, убѣжавъ въ уголъ двора, смотрѣлъ оттуда, какъ она освобождала плѣнную кабатчицу, и какъ обѣ онѣ, дружелюбно посмѣиваясь, идутъ по двору.

— Я-а тебя, — погрозила мнѣ кабатчица пухлымъ кулакомъ, но ея безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворотъ, привела въ кухню и спросила:

— Это ты зачѣмъ сдѣлалъ?

— Она въ тебя морковью кинула...

— Значитъ, это ты изъ-за меня? Такъ! Вотъ я тебя, брандахлыстъ, мышамъ въ подпечекъ суну, ты и очнешься! Какой защитникъ, — взгляньте на пузырь, а то сейчасъ лопнетъ! Вотъ скажу дѣдушкѣ, — онъ те кожу-то спуститъ! Ступай на чердакъ, учи книгу...

Цѣлый день она не разговаривала со мною, а вечеромъ, прежде чѣмъ встать на молитву, присѣла на постель и внушительно сказала памятныя слова:

— Вотъ что, Ленька, голуба-душа, ты закажи себѣ это: въ дѣла взрослыхъ не путайся! Взрослые — люди порченые; они Богомъ испытаны, а ты еще нѣтъ, — и живи дѣтскимъ разумомъ. Жди, когда Господь твоего сердца коснется, дѣло твое тебѣ укажетъ, на тропу твою приведетъ. Понялъ? А кто въ чемъ виноватъ, — это дѣло не твое. Господу судить и наказывать. Ему, а не намъ!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищуривъ правый глазъ, добавила:

— Да, поди-ка, и Самъ-отъ Господь не всегда въ силѣ понять, гдѣ чья вина.

— Развѣ Богъ не все знаетъ? — спросилъ я, удивленный, а она тихонько и печально отвѣтила:

— Кабы все-то зналъ, такъ бы многаго, поди, люди-то не дѣлали бы. Онъ, чай, Батюшка, глядитъ-глядитъ съ небеси-то на землю, на всѣхъ насъ, да въ иную минуту какъ восплачетъ, да какъ возрыдаетъ: «Люди вы Мои, люди, милые Мои люди! Охъ, какъ Мнѣ васъ жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрыхъ щекъ, отошла въ уголъ молиться.

Съ той поры ея Богъ сталъ еще ближе и понятнѣй мнѣ.

Дѣдъ, поучая меня, тоже говорилъ, что Богъ — существо вездѣсущее, всевѣдущее, всевидящее, добрая помощь людямъ во всѣхъ дѣлахъ, но молился онъ не такъ, какъ бабушка.

Утромъ, передъ тѣмъ, какъ встать въ уголъ, къ образамъ, онъ долго умывался, потомъ, аккуратно одѣтый, тщательно причесывалъ рыжіе волосы, оправлялъ бородку и, осмотрѣвъ себя въ зеркало, одернувъ рубаху, заправивъ черную косынку за жилетъ, осторожно, точно крадучись, шелъ къ образамъ. Становился онъ всегда на одинъ и тотъ же сучокъ половицы, подобный лошадиному глазу, съ минуту стоялъ молча, опустивъ голову, вытянувъ руки вдоль тѣла, какъ солдатъ. Потомъ, прямой и тонкій, какъ гвоздь, внушительно говорилъ:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Мнѣ казалось, что послѣ этихъ словъ въ комнатѣ наступала особенная тишина, — даже мухи жужжатъ осторожнѣе.

Онъ стоитъ, вздернувъ голову; брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчитъ горизонтально; онъ читаетъ молитвы твердо, точно отвѣчая урокъ; голосъ его звучитъ внятно и требовательно.

— Напрасно Судія пріидетъ, и коегождо дѣянія обнажатся...

Нешибко бьетъ себя по груди кулакомъ и настойчиво проситъ:

— Тебѣ единому согрѣшихъ, — отврати лице Твое отъ грѣхъ моихъ...

Читаетъ «Вѣрую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагиваетъ, словно безшумно притопывая въ тактъ молитвѣ; весь онъ напряженно тянется къ образамъ, растетъ и какъ бы становится все тоньше, суше, чистенькій такой, аккуратный и требующій:

— Врача родшая, уврачуй души моея многолѣтнія страсти! Стенанія отъ сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице!

И громко взываетъ, со слезами на зеленыхъ глазахъ:

— Вѣра же вмѣсто дѣлъ да вмѣнится мнѣ, Боже мой, да не взыщеши дѣлъ, отнюдь оправдающихъ мя!

Теперь онъ крестится часто, судорожно, киваетъ головою, точно бодаясь, голосъ его взвизгиваетъ и всхлипываетъ. Позднѣе, бывая въ синагогахъ, я понялъ, что дѣдъ молился, какъ еврей.

Уже самоваръ давно фыркаетъ на столѣ, по комнатѣ плаваетъ горячій запахъ ржаныхъ лепешекъ съ творогомъ, ѣсть хочется! Бабушка хмуро прислонилась къ притолокѣ и вздыхаетъ, опустивъ глаза въ полъ; въ окно изъ сада смотритъ веселое солнце, на деревьяхъ жемчугами сверкаетъ роса, утренній воздухъ вкусно пахнетъ укропомъ, смородиной, зрѣющими яблоками, а дѣдъ все еще молится, качается, взвизгиваетъ:

— Погаси пламень страстей моихъ, яко нищъ есмь и окаяненъ!

Я знаю на память всѣ молитвы утреннія и всѣ на сонъ грядущій, — знаю и напряженно слѣжу: не ошибется ли дѣдъ, не пропуститъ ли хоть слово?

Это случалось крайне рѣдко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончивъ молиться, дѣдъ говорилъ мнѣ и бабушкѣ:

— Здравствуйте!

Мы кланялись и, наконецъ, садились за столъ. Тутъ я говорилъ дѣду:

— А ты сегодня «довлѣетъ» пропустилъ!

— Врешь! — безпокойно и недовѣрчиво спрашиваетъ онъ.

— Ужъ пропустилъ! Надо: «но та вѣра моя да довлѣетъ вмѣсто всѣхъ», а ты и не сказалъ «довлѣетъ».

— На-ко вотъ! — смущенно восклицаетъ онъ, виновато мигая глазами.

Потомъ онъ чѣмъ-нибудь горько отплатитъ мнѣ за это указаніе, но пока, видя его смущеннымъ, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

— А скушно, поди-ка, Богу-то слушать моленье твое, отецъ, — всегда ты твердишь одно да все то же.

— Чего-о это? — зловѣще протянулъ онъ. — Что ты мычишь?

— Говорю, отъ своей-то души ни словечка Господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу.

Онъ побагровѣлъ, затрясся и, подпрыгнувъ на стулѣ, бросилъ блюдечко въ голову ей, бросилъ и завизжалъ, какъ пила на сучкѣ:

— Вонъ, старая вѣдьма!

Разсказывая мнѣ о необоримой силѣ Божіей, онъ всегда и прежде всего подчеркивалъ ея жестокость: вотъ согрѣшили люди, — и потоплены, еще согрѣшили, — и сожжены, разрушены города ихъ, вотъ Богъ наказалъ людей голодомъ и моромъ, и всегда Онъ — мечъ надъ землею, бичъ грѣшникамъ.

— Всякъ, нарушающій непослушаніемъ законы Божіи, наказанъ будетъ горемъ и погибелью! — постукивая костями тонкихъ пальцевъ по столу, внушалъ онъ.

Мнѣ было трудно повѣрить въ жестокость Бога. Я подозрѣвалъ, что дѣдъ нарочно придумываетъ все это,

чтобы внушить мнѣ страхъ не предъ Богомъ, а предъ нимъ. И я откровенно спрашивалъ его:

— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А онъ такъ же откровенно отвѣчалъ:

— Ну, конешно! Еще бы не слушался ты?!

— А какъ же бабушка?

— Ты ей, старой дурѣ, не вѣрь! — строго училъ онъ. — Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вотъ прикажу ей, чтобы не смѣла она говорить съ тобой про эти великія дѣла! Отвѣчай мнѣ: сколько есть чиновъ ангельскихъ?

Я отвѣчалъ и спрашивалъ:

— А кто такіе чиновники?

— Экъ тебя мотаетъ! — усмѣхался онъ, пряча глаза, и, пожевавъ губами, объяснялъ неохотно:

— Это Бога не касаемо, чиновники, это — человѣческое! Чиновникъ суть законоѣдъ, онъ законы жретъ.

— Какіе законы?

— Законы? Это, значитъ, обычаи, — веселѣе и охотнѣе говорилъ старикъ, поблескивая умными, колючими глазами. — Живутъ люди, живутъ и согласятся: вотъ этакъ лучше всего, это мы и возьмемъ себѣ за обычай, поставимъ правиломъ, закономъ! Примѣрно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, какъ игру вести, въ какомъ порядкѣ. Ну, вотъ уговоръ этотъ и есть законъ!

— А чиновники?

— А чиновникъ озорнику подобенъ, придетъ и всѣ законы порушитъ.

— Зачѣмъ?

— Ну, этого тебѣ не понять! — строго нахмурясь, говоритъ онъ и снова внушаетъ:

— Надо всѣми дѣлами людей Господь! Люди хотятъ одного, а Онъ — другого. Все человѣчье непрочно. Дунетъ Господь, — и все во прахъ, въ пыль.

У меня было много причинъ интересоваться чиновниками, и я допытывался:

— А вонъ дядя Яковъ поетъ:

> Свѣтлы ангелы — Божія чины,
> А чиновники — холопы Сатаны?

Дѣдъ приподнялъ ладонью бородку, сунулъ ее въ ротъ и закрылъ глаза. Щеки у него дрожали. Я понялъ, что онъ внутренно смѣется.

— Связать бы васъ съ Яшкой по ногѣ да пустить по водѣ! — сказалъ онъ. — Пѣсенъ этихъ ни ему пѣть, ни тебѣ слушать не надобно. Это — кулугурскія шутки, раскольниками придумано, еретиками.

И, задумавшись, устремивъ глаза куда-то черезъ меня, онъ тихонько тянулъ:

— Эхъ, вы-и....

Но, ставя Бога грозно и высоко надъ людьми, онъ, какъ и бабушка, тоже вовлекалъ Его во всѣ свои дѣла, — и Его, и безчисленное множество святыхъ угодниковъ. Бабушка же какъ будто совсѣмъ не знала угодниковъ, кромѣ Николы, Юрія, Фрола и Лавра, но они тоже были очень добрые и близкіе людямъ: ходили по деревнямъ и городамъ, вмѣшиваясь въ жизнь людей, обладая всѣми свойствами ихъ. Дѣдовы же святые были почти всѣ мученики, они свергали идоловъ, спорили съ римскими царями, и за это ихъ пытали, жгли, сдирали съ нихъ кожу.

Иногда дѣдъ мечталъ:

— Помогъ бы Господь продать домишко этотъ, хоть съ пятью стами пользы, — отслужилъ бы я молебенъ Николѣ-угоднику!

Бабушка, посмѣиваясь, говорила мнѣ:

— Такъ ему, старому дураку, Никола и станетъ дома продавать, — нѣтъ у него, Николы-Батюшки, никакого дѣла лучше-то!

Въ тѣ дни мысли и чувства о Богѣ были главной пищей моей души, самымъ красивымъ въ жизни, — всѣ же иныя впечатлѣнія только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращеніе и злость. Богъ былъ самымъ лучшимъ и свѣтлымъ изъ всего, что окружало меня, — Богъ бабушки, такой милый другъ всему живому. И, конечно, меня не могъ не тревожить вопросъ: какъ же это дѣдъ не видитъ добраго Бога?

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишкомъ возбуждала меня, я точно хмелѣлъ отъ ея впечатлѣній и почти всегда становился виновникомъ скандаловъ и буйствъ. Товарищей у меня не заводилось, сосѣдскія ребятишки относились ко мнѣ враждебно; мнѣ не нравилось, что они зовутъ меня Каширинымъ, а они, замѣчая это, тѣмъ упорнѣе кричали другъ другу:

— Кащея Каширина внучонокъ вышелъ, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Былъ я не по годамъ силенъ и въ бою ловокъ, — это признавали сами же враги, всегда нападавшіе на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходилъ обыкновенно съ расквашеннымъ носомъ, разсѣченными губами и синяками на лицѣ, оборванный, въ пыли.

Бабушка встрѣчала меня, испуганно соболѣзнуя:

— Что, рѣдькинъ сынъ, опять дрался? Да что же это такое, а! Какъ я тебя начну, съ руки на руку...

Мыла мнѣ лицо, прикладывала къ синякамъ бодягу, мѣдныя монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

— Ну, что ты все дерешься? Дома смирный, а на улицѣ ни на что не похожъ! Безстыдникъ. Вотъ скажу дѣдушкѣ, чтобъ онъ не выпускалъ тебя...

Дѣдушка видѣлъ мои синяки, но никогда не ругался, только крякалъ и мычалъ:

У меня долго хранились дѣдовы святцы, съ разными надписями его рукою. Въ нихъ, между прочимъ, противъ дня Іоакима и Анны, было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Исбавили от беды милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержкѣ неудавшихся дѣтей, дѣдушка сталъ заниматься ростовщичествомъ, началъ тайно принимать вещи въ закладъ. Кто-то донесъ на него, и однажды ночью нагрянула полиція съ обыскомъ. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дѣдъ молился до восхода солнца и утромъ, передъ часмъ, при мнѣ написалъ въ святцахъ эти слова.

Передъ ужиномъ онъ читалъ со мною псалтирь, часословъ или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинавъ, снова становился на молитву и въ тишинѣ вечерней долго звучали унылыя, покаянныя слова:

— Что Ти принесу или что Ти воздамъ, великодаровитый безсмертный Царю... И соблюди насъ отъ всякаго мечтанія... Господи, покрый мя отъ человѣкъ нѣкоторыхъ... Даждь ми слезы и память смертную...

А бабушка нерѣдко говаривала:

— Ой, какъ седни устала я! Ужъ, видно, не помолясь лягу...

Дѣдъ водилъ меня въ церковь: по субботамъ — ко всенощной, по праздникамъ — къ поздней обѣднѣ. Я и во храмѣ раздѣлялъ, когда какому Богу молятся: все, что читаютъ священникъ и дьячокъ, — это дѣдову Богу, а пѣвчіе поютъ всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то дѣтское различіе между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дѣдовъ Богъ вызывалъ у меня страхъ и непріязнь: Онъ не любилъ никого, слѣдилъ за всѣмъ строгимъ окомъ, Онъ, прежде всего, искалъ и видѣлъ въ человѣкѣ дурное, злое, грѣшное. Было ясно, что Онъ не вѣритъ человѣку, всегда ждетъ покаянія и любитъ наказывать.

— Опять съ медалями? Ты у меня, Аника-воинъ, не смѣй на улицу бѣгать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышалъ веселый ребячій гамъ, то убѣгалъ со двора, не глядя на дѣдовъ запретъ. Синяки и ссадины не обижали, но неизмѣнно возмущала жестокость уличныхъ забавъ, — жестокость, слишкомъ знакомая мнѣ, надоѣвшая и угнетающая, доводившая до бѣшенства. Я не могъ терпѣть, когда ребята стравливали собакъ или пѣтуховъ, истязали кошекъ, гоняли еврейскихъ козъ, издѣвались надъ пьяными нищими и блаженнымъ «Игошей, смерть въ карманѣ».

Это былъ высокій, сухой и копченный человѣкъ, въ тяжеломъ тулупѣ изъ овчины, съ жесткими волосами на костлявомъ, заржавѣвшемъ лицѣ. Онъ ходилъ по улицѣ, согнувшись, странно качаясь, и молча упорно смотрѣлъ въ землю подъ ноги себѣ. Его желѣзное лицо, съ маленькими грустными глазами, внушало мнѣ боязливое почтеніе, — думалось, что этотъ человѣкъ занятъ серьезнымъ дѣломъ, онъ чего-то ищетъ, и мѣшать ему не надобно.

Мальчишки бѣжали за нимъ, лукая камнями въ сутулую спину. Онъ долго какъ бы не замѣчалъ ихъ и не чувствовалъ боли ударовъ, но вотъ остановился, вскинулъ голову въ мохнатой шапкѣ, поправилъ шапку судорожнымъ движеніемъ руки и оглядывается, словно только-что проснулся.

— Игоша, смерть въ карманѣ, Игошъ, куда идешь? Гляди, смерть въ карманѣ! — кричатъ мальчишки.

Онъ хватался рукою за карманъ, потомъ, быстро наклонясь, поднималъ съ земли камень, чурку, комъ сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормоталъ ругательство. Ругался онъ всегда одними и тѣми же тремя погаными словами, — въ этомъ отношеніи мальчишки были неизмѣримо богаче его. Иногда онъ гнался

за ними, прихрамывая; длинный тулупъ мѣшалъ ему бѣжать, онъ падалъ на колѣни, упираясь въ землю черными руками, похожими на сухіе сучки. Ребятишки садили ему въ бока и спину камни, наиболѣе смѣлые подбѣгали вплоть и отскакивали, высыпавъ на голову его пригоршни пыли.

Другимъ и, можетъ быть, еще болѣе тяжкимъ впечатлѣніемъ улицы былъ мастеръ Григорій Ивановичъ. Онъ совсѣмъ ослѣпъ и ходилъ по міру, высокій, благообразный, нѣмой. Его водила подъ-руку маленькая сѣрая старушка; останавливаясь подъ окнами, она писклявымъ голосомъ тянула, всегда глядя куда-то вбокъ:

— Подайте, Христа ради, слѣпому, убогому...

А Григорій Ивановичъ молчалъ. Черныя очки его смотрѣли прямо въ стѣну дома, въ окно, въ лицо встрѣчнаго; насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видѣлъ его, но никогда не слыхалъ ни звука изъ этихъ сомкнутыхъ устъ, и молчаніе старика мучительно давило меня. Я не могъ подойти къ нему, никогда не подходилъ, а, напротивъ, завидя его, бѣжалъ домой и говорилъ бабушкѣ:

— Григорій ходитъ по улицѣ!

— Ну? — безпокойно и жалостно восклицала она. — На-ко, бѣги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала съ нимъ, стоя на тротуарѣ. Онъ усмѣхался, трясъ бородой, но самъ говорилъ мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвавъ его въ кухню, поила чаемъ, кормила. Какъ-то разъ онъ спросилъ: гдѣ я? Бабушка позвала меня, но я убѣжалъ и спрятался въ дровахъ. Не могъ я подойти къ нему, — было нестерпимо стыдно предъ нимъ, и я зналъ, что бабушкѣ тоже стыдно. Только однажды говорили мы съ нею о Григоріи: проводивъ его

за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустивъ голову. Я подошелъ къ ней, взялъ ея руку.

— Ты что же бѣгаешь отъ него? — тихо спросила она. — Онъ тебя любитъ, онъ хорошій, вѣдь...

— Отчего дѣдушка не кормитъ его? — спросилъ я.

— Дѣдушка-то?

Она остановилась, прижала меня къ себѣ и почти шопотомъ, пророчески сказала:

— Помяни мое слово: горестно накажетъ насъ Господь за этого человѣка! Накажетъ...

Она не ошиблась: лѣтъ черезъ десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дѣдъ самъ ходилъ по улицамъ города нищій и безумный, жалостно выпрашивая подъ окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусокъ, пирожка-то мнѣ бы! Эхъ, вы-и...

Прежняго отъ него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

— Эхъ, вы-и...

Кромѣ Игоши и Григорія Ивановича, меня давила, изгоняя съ улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась въ праздники, огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, какъ туча, и орала похабныя пѣсни. Всѣ встрѣчные прятались отъ нея, заходя въ ворота домовъ, за углы, въ лавки, — она точно мела улицу. Лицо у нея было почти синее, надуто, какъ пузырь, большіе сѣрые глаза страшно и насмѣшливо вытаращены. А иногда она выла, плакала.

— Дѣточки мои, гдѣ вы?

Я спрашивалъ бабушку: что это?

— Нельзя тебѣ знать! — отвѣтила она угрюмо, но все-таки разсказала кратко: былъ у этой женщины мужъ, чиновникъ Вороновъ, захотѣлось ему получить другой, высокій чинъ, онъ продалъ жену начальнику своему,

а тотъ ее увезъ куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дѣти ея — мальчикъ и дѣвочка — померли уже, мужъ проигралъ казенныя деньги и сидѣлъ въ тюрьмѣ. И вотъ съ горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздникъ къ вечеру ее забираетъ полиція...

Нѣтъ, дома было лучше, чѣмъ на улицѣ. Особенно хороши были часы послѣ обѣда, когда дѣдъ уѣзжалъ въ мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, разсказывала мнѣ интересныя сказки, исторіи, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрѣзала сломанное крыло, а на мѣсто откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылѣчивъ птицу, учила ее говорить. Стоитъ, бывало, цѣлый часъ передъ клѣткой на косякѣ окна, — большой такой, добрый звѣрь, — и густымъ голосомъ твердитъ переимчивой черной, какъ уголь, птицѣ:

— Ну, проси: скворушкѣ — кашки!

Скворецъ, скосивъ на нее круглый живой глазъ юмориста, стучитъ деревяшкой о тонкое дно клѣтки, вытягиваетъ шею и свиститъ иволгой, передразниваетъ сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражаетъ вою собаки, а человѣчья рѣчь не дается ему.

— Да ты не балуй! — серьезно говоритъ ему бабушка. — Ты говори: скворушкѣ — кашки!

Черная обезьяна въ перьяхъ оглушительно оретъ что-то похожее на слова бабушки, — старуха смѣется радостно, даетъ птицѣ просяной каши съ пальца и говоритъ:

— Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты, — все можешь, все умѣешь!

И, вѣдь, выучила скворца: черезъ нѣкоторое время онъ довольно ясно просилъ каши, а завидя бабушку, тянулъ:

— Дра-астуй, ба-аба...

Сначала онъ висѣлъ въ комнатѣ дѣда, но скоро дѣдъ изгналъ его къ намъ, на чердакъ, потому что скворецъ выучился дразнить дѣдушку; дѣдъ внятно произноситъ слова молитвъ, а птица, просунувъ восковой желтый носъ между палочекъ клѣтки, высвистываетъ:

— Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Дѣду показалось обиднымъ это; однажды онъ, прервавъ молитву, топнулъ ногой и закричалъ свирѣпо:

— Убери его, дьявола, убью!

Много было интереснаго въ домѣ, много забавнаго, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чѣмъ-то тяжкимъ и подолгу жилъ, какъ въ глубокой темной ямѣ, потерявъ зрѣніе, слухъ и всѣ чувства, слѣпой и полумертвый...

VIII.

Дѣдъ неожиданно продалъ домъ кабатчику, купивъ другой, по Канатной улицѣ; немощенная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо въ поле и была снизана изъ маленькихъ, пестро окрашенныхъ домиковъ.

Новый домъ былъ наряднѣй, милѣй прежняго; его фасадъ покрашенъ теплой и спокойной темно-малиновой краской; на немъ ярко свѣтились голубыя ставни трехъ оконъ и ординарная рѣшотчатая ставня чердачнаго окна; крышу съ лѣвой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворѣ и въ саду было множество уютныхъ закоулковъ, какъ будто нарочно, для игры въ прятки. Особенно хорошъ садъ, небольшой, но густой и пріятно запутанный; въ одномъ углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; въ другомъ была большая, довольно глубокая яма; она заросла бурьяномъ, и изъ него торчали толстыя головни, остатки прежней, сгорѣвшей бани. Слѣва садъ ограждала стѣна конюшенъ полковника Овсянникова, справа — постройки Бетленга; въ глубинѣ онъ соприкасался съ усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колоколъ; ея домикъ, осѣвшій въ землю, темный и ветхій, хорошо покрытый мхомъ, добродушно смотрѣлъ двумя окнами въ поле, исковырянное глубокими оврагами, съ тяжелой синей тучей лѣса вдали; по полю цѣлый день двигались, бѣгали солдаты; въ косыхъ лучахъ осенняго солнца сверкали бѣлыя молніи штыковъ.

Весь домъ былъ тѣсно набитъ невиданными мною людьми: въ передней половинѣ жилъ военный изъ татаръ, съ маленькой, круглой женою; она съ утра до вечера кричала, смѣялась, играла на богато украшенной гитарѣ и высокимъ, звонкимъ голосомъ пѣла чаще другихъ задорную пѣсню:

Одна любишь, — не рада,
Искать другую надо!
Умѣй ее найти.
И ждетъ тебя награда
На вѣрномъ семъ пути!
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, какъ шаръ, сидя у окна, надувалъ синее лицо и, весело выкатывая какіе-то рыжіе глаза, непрерывно курилъ трубку, кашлялъ и хохоталъ страннымъ, собачьимъ звукомъ:

— Вухъ, вух-вух-хх...

Въ теплой пристройкѣ надъ погребомъ и конюшней помѣщались двое ломовыхъ извозчиковъ, маленькій, сивый дядя Петръ, нѣмой племянникъ его Степа, гладкій, литой парень, съ лицомъ, похожимъ на подносъ красной мѣди, и невеселый, длинный татаринъ Валей, денщикъ. Все это были люди насквозь новые, богатые незнакомымъ для меня.

Но особенно крѣпко захватилъ и потянулъ меня къ себѣ нахлѣбникъ «Хорошее дѣло». Онъ снималъ въ задней половинѣ дома комнату рядомъ съ кухней, длинную, въ два окна — въ садъ и на дворъ.

Это былъ худощавый, сутулый человѣкъ, съ бѣлымъ лицомъ въ черной раздвоенной бородкѣ, съ добрыми глазами, въ очкахъ. Былъ онъ молчаливъ, незамѣтенъ и, когда его приглашали обѣдать, чай пить, неизмѣнно отвѣчалъ:

— Хорошее дѣло.

Бабушка такъ и стала звать его въ глаза и за глаза.

— Ленька, кричи «Хорошее дѣло» чай пить! Вы, «Хорошее дѣло», что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мнѣ гражданской печати; всюду стояли бутылки съ разноцвѣтными жидкостями, куски мѣди и желѣза, прутья свинца. Съ утра до вечера онъ, въ рыжей кожаной курткѣ, въ сѣрыхъ клѣтчатыхъ штанахъ, весь измазанный какими-то красками, непріятно пахучій, встрепанный и неловкій, плавилъ свинецъ, паялъ какія-то мѣдныя штучки, что-то взвѣшивалъ на маленькихъ вѣсахъ, мычалъ, обжигалъ пальцы и торопливо дулъ на нихъ, подходилъ, спотыкаясь, къ чертежамъ на стѣнѣ и, протеревъ очки, нюхалъ чертежи, почти касаясь бумаги тонкимъ и прямымъ, странно бѣлымъ носомъ. А иногда вдругъ останавливался среди комнаты или у окна и долго стоялъ, закрывъ глаза, поднявъ лицо, остолбенѣвшій, безмолвный.

Я влѣзалъ на крышу сарая и черезъ дворъ наблюдалъ за нимъ въ открытое окно, видѣлъ синій огонь спиртовой лампы на столѣ, темную фигуру, видѣлъ, какъ онъ пишетъ что-то въ растрепанной тетради, очки его блестятъ холодно и синевато, какъ льдины; колдовская работа этого человѣка часами держала меня на крышѣ, мучительно разжигая любопытство.

Иногда онъ, стоя въ окнѣ, какъ въ рамѣ, спрятавъ руки за спину, смотрѣлъ прямо на крышу, но меня какъ будто не видѣлъ, и это очень обижало. Вдругъ отскакивалъ къ столу и, согнувшись вдвое, рылся на немъ.

Я думаю, что я боялся бы его, будь онъ богаче, лучше одѣтъ, но онъ былъ бѣденъ: надъ воротникомъ его куртки торчалъ измятый, грязный воротъ рубахи, штаны въ пятнахъ и заплатахъ, на босыхъ ногахъ — стоптанныя туфли. Бѣдные не страшны, не опасны, въ

этомъ меня незамѣтно убѣдило жалостное отношеніе къ нимъ бабушки и презрительное со стороны дѣда.

Никто въ домѣ не любилъ «Хорошее дѣло»; всѣ говорили о немъ, посмѣиваясь; веселая жена военнаго звала его «мѣловой носъ», дядя Петръ — аптекаремъ и колдуномъ, дѣдъ — чернокнижникомъ, фармазономъ.

— Чего онъ дѣлаетъ? — спросилъ я бабушку. Она строго откликнулась:

— Не твое дѣло; молчи, знай...

Однажды, собравшись съ духомъ, я подошелъ къ его окну и спросилъ, едва скрывая волненіе:

— Ты чего дѣлаешь?

Онъ вздрогнулъ, долго смотрѣлъ на меня поверхъ очковъ и, протянувъ мнѣ руку въ язвахъ и шрамахъ ожоговъ, сказалъ:

— Влѣзай...

То, что онъ предложилъ войти къ нему не черезъ дверь, а черезъ окно, еще болѣе подняло его въ моихъ глазахъ. Онъ сѣлъ на ящикъ, поставилъ меня передъ собой, отодвинулъ, придвинулъ снова и, наконецъ, спросилъ негромко:

— Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза въ день сидѣлъ въ кухнѣ за столомъ около него! Я отвѣтилъ:

— Здѣшній внукъ...

— Ага, да, — сказалъ онъ, осматривая свой палецъ, и замолчалъ.

Тогда я счелъ нужнымъ пояснить ему:

— Я не Каширинъ, а Пѣшковъ...

— Пѣшковъ? — невѣрно повторилъ онъ. — Хорошее дѣло.

Отодвинулъ меня въ сторону, поднялся и, уходя къ столу, сказалъ:

— Ну, сиди смирно...

Я сидѣлъ долго-долго, наблюдая какъ онъ скоблитъ рашпилемъ кусокъ мѣди, зажатый въ тиски; на картонъ подъ тисками падаютъ золотыя крупинки опилокъ. Вотъ онъ собралъ ихъ въ горсть, высыпалъ въ толстую чашку, прибавилъ къ нимъ изъ баночки пыли, бѣлой, какъ соль, облилъ чѣмъ-то изъ темной бутылки, — въ чашкѣ зашипѣло, задымилось, ѣдкій запахъ бросился въ носъ мнѣ, я закашлялся, замоталъ головою, а онъ, колдунъ, хвастливо спросилъ:

— Скверно пахнетъ?

— Да!

— То-то же! Это, братъ, весьма хорошо!

«Чѣмъ хвастается!» — подумалось мнѣ, и я строго сказалъ:

— Если скверно, такъ ужъ не хорошо...

— Ну? — воскликнулъ онъ, подмигивая. — Это, братъ, не всегда, однако! А ты въ бабки играешь?

— Въ козны?

— Въ козны, да?

— Играю.

— Хочешь, налитокъ сдѣлаю? Хорошая битка будетъ!

— Хочу.

— Неси, давай бабку.

Онъ снова подошелъ ко мнѣ, держа дымящуюся чашку въ рукѣ, заглядывая въ нее однимъ глазомъ, подошелъ и сказалъ:

— Я тебѣ налитокъ сдѣлаю; а ты за это не ходи ко мнѣ. Хорошо?

Это меня прежестоко обидѣло.

— Я и такъ не приду никогда...

Обиженный, я ушелъ въ садъ. Тамъ возился дѣдушка, обкладывая навозомъ корни яблонь; осень была, уже давно начался листопадъ.

— Ну-ко, подстригай малину, — сказалъ дѣдъ, подавая мнѣ ножницы.

Я спросилъ его:

— «Хорошее дѣло» чего строитъ?

— Горницу портитъ, — сердито отвѣтилъ онъ. — Полъ прожогъ, обои попачкалъ, ободралъ. Вотъ скажу ему, — съѣзжалъ бы!

— Такъ и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухія лозы малинника.

Но я поспѣшилъ.

Дождливыми вечерами, если дѣдъ уходилъ изъ дома, бабушка устраивала въ кухнѣ интереснѣйшія собранія, приглашая пить чай всѣхъ жителей: извозчиковъ, денщика, часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда въ углу, около печи, неподвижно и нѣмотно торчалъ «Хорошее дѣло». Нѣмой Степа игралъ съ татариномъ въ карты; Валей хлопалъ ими по широкому носу нѣмого и приговаривалъ:

— Аш-шайтанъ!

Дядя Петръ приносилъ огромную краюху бѣлаго хлѣба и варенье «сѣмечки» въ большой глиняной банкѣ, рѣзалъ хлѣбъ ломтями, щедро смазывалъ ихъ вареньемъ и раздавалъ всѣмъ эти вкусные малиновые ломти, держа ихъ на ладони, низко кланяясь:

— Пожалуйте-ко милостью, покушайте! — ласково просилъ онъ, а когда у него брали ломоть, онъ внимательно осматривалъ свою темную ладонь и, замѣтя на ней капельку варенья, слизывалъ его языкомъ.

Петровна приносила вишневую наливку въ бутылкѣ, веселая барыня — орѣхи и конфекты. Начинался пиръ горой, любимое бабушкино удовольствіе.

Спустя нѣкоторое время послѣ того, какъ «Хорошее дѣло» предложилъ мнѣ взятку за то, чтобъ я не ходилъ къ нему въ гости, бабушка устроила такой вечеръ. Сы-

пался и хлюпалъ неуёмный осенній дождь, нылъ вѣтеръ, шумѣли деревья, царапая сучьями стѣну. Въ кухнѣ было тепло, уютно, всѣ сидѣли близко другъ ко другу, всѣ были какъ-то особенно мило тихи, а бабушка нарѣдкость щедро разсказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидѣла на краю печи, опираясь ногами о приступокъ, наклонясь къ людямъ, освѣщеннымъ огнемъ маленькой жестяной лампы; ужъ это всегда, если она была въ ударѣ, она забиралась на печь, объясняя:

— Мнѣ сверху надо говорить, — сверху-то лучше!

Я помѣстился у ногъ ея, на широкомъ приступкѣ, почти надъ головою «Хорошаго дѣла». Бабушка сказывала хорошую исторію про Ивана Воина и Мирона-отшельника; мѣрно лились сочныя, вѣскія слова.

* *
*

— Жилъ-былъ злой воевода Гордіонъ,
Черная душа, совѣсть каменная;
Правду онъ гналъ, людей истязалъ,
Жилъ во злѣ, словно сычъ въ дуплѣ.
Пуще же всего не взлюбилъ Гордіонъ
Старца Мирона-отшельника,
Тихаго правды защитника,
Міру добродѣя безстрашнаго.
Кличетъ воевода вѣрнаго слугу,
Храбраго Иванушку Воина:
— Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливаго!
Подь, да сруби ему голову,
Подхвати ее за сиву бороду,
Принеси мнѣ, я собакъ прокормлю!
Пошелъ Иванъ, послушался.
Идетъ Иванъ, горько думаетъ:
«Не самъ иду, — нужда ведетъ!
Знать, такая мнѣ доля отъ Господа.»
Спряталъ вострый мечъ Иванъ подъ полу,
Пришелъ, поклонился отшельнику:

— Все ли ты здоровъ, честной старичокъ?
Какъ тебя, старца, Господь милуетъ?
  Тутъ прозорливецъ усмѣхается,
Мудрыми устами говоритъ ему:
— Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу Богу все вѣдомо,
Злое и доброе въ Его рукѣ!
Знаю, вѣдь, пошто ты пришелъ ко мнѣ!
  Стыдно Иванкѣ предъ отшельникомъ,
А и боязно Ивану ослушаться.
Вынулъ онъ мечъ изъ кожаныхъ ножонъ,
Вытеръ желѣзо широкой полой.
— Я-было, Мироне, хотѣлъ тебя убить
Такъ, чтобы ты и меча не видалъ.
Ну, а теперь молись Господу,
Молись ты Ему въ останній разъ
За себя, за меня, за весь родъ людской,
А послѣ я тебѣ срублю голову! . . .
  Сталъ на колѣни старецъ Миронъ,
  Всталъ онъ тихонько подъ дубокъ молодой, —
  Дубъ передъ нимъ преклоняется.
  Старецъ говоритъ, улыбаючись:
— Ой, Иванъ, гляди: долго ждать тебѣ!
Велика молитва за весь родъ людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебѣ лишняго не маяться!
  Тутъ Иванъ сердито прихмурился,
  Тутъ онъ глупенько похвастался:
— Нѣтъ, коли сказано, такъ сказано!
Ты, знай, молись, я хоть вѣкъ подожду!
  Молится отшельникъ до вечера,
Съ вечера онъ молится до утренней зари,
Съ утренней зари онъ вплоть до ночи,
Съ лѣта онъ молится опять до весны.
Молится Мироне годъ за годомъ,
Дубъ-отъ молодой сталъ до облака,
Съ жолудя его густо лѣсъ пошелъ,
А святой молитвѣ все нѣтъ конца!
  Такъ они по сей день и держатся:
  Старче все тихонько Богу плачется,
  Проситъ у Бога людямъ помощи,
  У Преславной Богородицы — радости,

А Иванъ-отъ Воинъ стоитъ около,
Мечъ его давно въ пыль разсыпался,
Кованы доспѣхи съѣла ржавчина,
Добрая одежда поистлѣла вся,
Зиму и лѣто голъ стоитъ Иванъ,
Зной его сушитъ, — не высушитъ,
Гнусъ ему кровь точитъ, — не выточитъ,
Волки, медвѣди не трогаютъ,
Вьюги да морозы не для него.
Самъ-отъ онъ не въ силѣ съ мѣста двинуться,
Ни руки поднять и ни слова сказать.
Это, вишь, ему въ наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совѣсть не прятался!
А молитва старца за насъ, грѣшниковъ,
И по сей добрый часъ течетъ ко Господу,
Яко свѣтлая рѣка въ окіянъ-море!

*   *
*

Уже въ началѣ разсказа бабушки я замѣтилъ, что «Хорошее дѣло» чѣмъ-то обезпокоенъ; онъ странно, судорожно двигалъ руками, снималъ и надѣвалъ очки, помахивалъ ими въ мѣру пѣвучихъ словъ, кивалъ головою, касался глазъ, крѣпко нажимая ихъ пальцами, и все вытиралъ быстрымъ движеніемъ ладони лобъ и щеки, какъ сильно вспотѣвшій. Когда кто-либо изъ слушателей двигался, кашлялъ, шаркалъ ногами, нахлѣбникъ строго шипѣлъ:

— Шш!

А когда бабушка замолчала, отирая рукавомъ кофты вспотѣвшее лицо, онъ бурно вскочилъ и, размахивая руками, какъ-то неестественно закружился, забормоталъ:

— Знаете, это удивительно, это надо записать непремѣнно! Это — страшно вѣрное, наше...

Теперь ясно было видно, что онъ плачетъ, — глаза его были полны слезъ; онѣ выступали сверху и снизу,

глаза купались въ нихъ; это было странно и очень жалостно. Онъ бѣгалъ по кухнѣ, смѣшно, неуклюже подпрыгивая, размахивалъ очками передъ носомъ своимъ, желая надѣть ихъ, и все не могъ зацѣпить проволоку за уши. Дядя Петръ усмѣхался, поглядывая на него, всѣ сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

— Запишите, что же, грѣха въ этомъ нѣту; я и еще много знаю эдакого...

— Нѣтъ, именно это! Это — страшно-русское, — возбужденно выкрикивалъ нахлѣбникъ и, вдругъ остолбенѣвъ среди кухни, началъ громко говорить, разсѣкая воздухъ правой рукою, а въ лѣвой дрожали очки. Говорилъ долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и тѣ же слова:

— Нельзя жить чужой совѣстью, да, да!

Потомъ вдругъ какъ-то сорвался съ голоса, замолчалъ, поглядѣлъ на всѣхъ и тихонько, виновато ушелъ, склонивъ голову. Люди усмѣхались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, въ тѣнь, и тяжко вздыхала тамъ.

Отирая ладонью красныя, толстыя губы, Петровна спросила:

— Разсердился, будто?

— Не, — отвѣтилъ дядя Петръ. — Это онъ такъ себѣ...

Бабушка слѣзла съ печи и стала молча подогрѣвать самоваръ, а дядя Петръ, не торопясь, говорилъ:

— Господа всѣ такіе, — капризники!

Валей угрюмо буркнулъ:

— Холостой всегда дуритъ!

Всѣ засмѣялись, а дядя Петръ тянулъ:

— До слезъ дошелъ. Видно, бывало, щука клевала, а нонѣ и плотва — едва...

Стало скучно; какое-то уныніе щемило сердце. «Хо-

рошее дѣло» очень удивилъ меня; было жалко его, — такъ ясно помнились его утонувшіе глаза.

Онъ не ночевалъ дома, а на другой день пришелъ послѣ обѣда, тихій, измятый, явно сконфуженный.

— Вчера я шумѣлъ, — сказалъ онъ бабушкѣ виновато, словно маленькій. — Вы не сердитесь?

— На что же?

— А вотъ, что я вмѣшался, говорилъ?

— Вы никого не обидѣли...

Я чувствовалъ, что бабушка боится его, не смотритъ въ лицо ему и говоритъ необычно, — тихо слишкомъ.

Онъ подошелъ вплоть къ ней и сказалъ удивительно просто:

— Видите ли, я страшно одинъ, нѣтъ у меня никого! Молчишь, молчишь, — и вдругъ вскипитъ въ душѣ, прорветъ... Готовъ камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась отъ него.

— А вы бы женились...

— Э! — воскликнулъ онъ, сморщившись, и ушелъ, махнувъ рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядѣла вслѣдъ ему, понюхала табаку и потомъ строго наказала мнѣ:

— Ты, гляди, не очень вертись около него; Богъ его знаетъ, какой онъ такой...

А меня снова потянуло къ нему.

Я видѣлъ, какъ измѣнилось, опрокинулось его лицо, когда онъ сказалъ «страшно одинъ»; въ этихъ словахъ было что-то понятное мнѣ, тронувшее меня за сердце, и я пошелъ за нимъ.

Заглянулъ со двора въ окно его комнаты, — она была пуста и похожа на чуланъ, куда наскоро, въ безпорядкѣ, брошены разныя ненужныя вещи, — такія же ненужныя и странныя, какъ ихъ хозяинъ. Я пошелъ въ садъ и тамъ, въ ямѣ, увидалъ его; согнувшись, закинувъ руки за голову, упираясь локтями въ колѣни,

онъ неудобно сидѣлъ на концѣ обгорѣвшаго бревна; бревно было засыпано землею, а конецъ его, лоснясь углемъ, торчалъ въ воздухѣ надъ жухлой полынью, крапивой, лопухомъ. И то, что ему было неудобно сидѣть, еще болѣе распологало къ этому человѣку.

Онъ долго не замѣчалъ меня, глядя куда-то мимо слѣпыми глазами филина, потомъ вдругъ спросилъ какъ будто съ досадой:

— За мной?

— Нѣтъ.

— А что же?

— Такъ.

Онъ снялъ очки, протеръ ихъ платкомъ въ красныхъ и черныхъ пятнахъ и сказалъ:

— Ну, полѣзай сюда!

Когда я сѣлъ рядомъ съ нимъ, онъ крѣпко обнялъ меня за плечи.

— Сиди. Будемъ сидѣть и молчать. Ладно? Вотъ это самое... Ты упрямый?

— Да.

— Хорошее дѣло!

Молчали долго. Вечеръ былъ тихій, кроткій, одинъ изъ тѣхъ грустныхъ вечеровъ бабьяго лѣта, когда все вокругъ такъ цвѣтисто и такъ замѣтно линяетъ, бѣднѣетъ съ каждымъ часомъ, а земля уже истощила всѣ свои сытные, лѣтніе запахи, пахнетъ только холодной сыростью, воздухъ же странно прозраченъ, и въ красноватомъ небѣ суетно мелькаютъ галки, возбуждая невеселыя мысли. Все нѣмотно и тихо; каждый звукъ, — шорохъ птицы, шелестъ упавшаго листа, — кажется громкимъ, заставляетъ опасливо вздрогнуть, но, вздрогнувъ, снова замираешь въ тишинѣ, — она обняла всю землю и наполняетъ грудь.

Въ такія минуты родятся особенно чистыя, легкія мысли, но онѣ тонки, прозрачны, словно паутина, и не-

уловимы словами. Онѣ вспыхиваютъ и исчезаютъ быстро, какъ падающія звѣзды, обжигая душу печалью о чемъ-то, ласкаютъ ее, тревожатъ, и тутъ она кипитъ, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тутъ создается ея лицо.

Прижимаясь къ теплому боку нахлѣбника, я смотрѣлъ вмѣстѣ съ нимъ сквозь черные сучья яблонь на красное небо, слѣдилъ за полетами хлопотливыхъ чечотокъ, видѣлъ, какъ щеглята треплютъ маковки сухого репья, добывая его терпкія зерна, какъ съ поля тянутся мохнатыя, сизыя облака съ багряными краями, а подъ облаками тяжело летятъ вороны ко гнѣздамъ, на кладбище. Все было хорошо и какъ-то особенно, не повсегдашнему понятно и близко.

Иногда человѣкъ спрашивалъ, глубоко вздохнувъ:

— Славно, братъ? То-то! А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнѣло, и все вокругъ вспухло, наливаясь сырымъ сумракомъ, онъ сказалъ:

— Ну, будетъ! Идемъ...

У калитки сада онъ остановился, тихо говоря:

— Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!

Закрылъ глаза и, улыбаясь, прочиталъ негромко, очень внятно:

Это ему въ наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совѣсть не прятался! . . .

— Ты, братъ, запомни это, очень!

И, поталкивая меня впередъ, спросилъ:

— Писать умѣешь?

— Нѣтъ.

— Научись. А научишься, — записывай, что бабушка разсказываетъ, — это, братъ, очень годится...

Мы подружились. Съ этого дня я приходилъ къ «Хорошему дѣлу», когда хотѣлъ, садился въ ящикъ съ

какимъ-то тряпьемъ и невозбранно слѣдилъ, какъ онъ плавитъ свинецъ, грѣетъ мѣдь, раскаливъ, куетъ желѣзныя пластины на маленькой наковальнѣ легкимъ молоткомъ съ красивой ручкой, работаетъ рашпилемъ, напильниками, наждакомъ и тонкой, какъ нитка, пилою. И все взвѣшиваетъ на чуткихъ мѣдныхъ вѣсахъ. Сливая въ толстыя бѣлыя чашки разныя жидкости, смотритъ, какъ онѣ дымятся, наполняютъ комнату ѣдкимъ запахомъ, морщится, смотритъ въ толстую книгу и мычитъ, покусывая красныя губы, или тихонько тянетъ, сиповатымъ голосомъ:

О, роза Сарона...

— Это чего ты дѣлаешь?

— Одну штуку, братъ...

— Какую?

— А-а, видишь ли, не умѣю я сказать такъ, чтобъ ты понялъ...

— Дѣдушка говоритъ, что ты, можетъ, фальшивыя деньги дѣлаешь...

— Дѣдушка? Мм... Ну, это онъ пустяки говоритъ! Деньги, братъ, — ерунда...

— А чѣмъ за хлѣбъ платить?

— Н-да, братъ, за хлѣбъ надобно платить, вѣрно...

— Видишь? И за говядину тоже...

— И за говядину...

Онъ тихонько, удивительно мило смѣется, щекочетъ меня за ухомъ, точно кутенка, и говоритъ:

— Никакъ не могу я спорить съ тобой, — забиваешь ты, братъ, меня; давай лучше помолчимъ...

Иногда онъ прерывалъ работу, садился рядомъ со мною, и мы долго смотрѣли въ окно, какъ сѣетъ дождь на крыши, на дворъ, заросшій травою, какъ бѣднѣютъ яблони, теряя листъ. Говорилъ «Хорошее дѣло» скупо, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая

обратить на что-либо мое вниманіе, онъ тихонько толкалъ меня и показывалъ глазомъ, подмигивая.

Ничего особеннаго я не вижу на дворѣ, но отъ этихъ толчковъ локтемъ и отъ краткихъ словъ все видимое кажется особо значительнымъ, все крѣпко запоминается. Вотъ по двору бѣжитъ кошка, остановилась передъ свѣтлой лужей и, глядя на свое отраженіе, подняла мягкую лапу, точно ударить хочетъ его, — «Хорошее дѣло» говоритъ тихонько:

— Кошки горды и недовѣрчивы...

Золотисто-рыжій пѣтухъ Мамай, взлетѣвъ на изгородь сада, укрѣпился, встряхнулъ крыльями, едва не упалъ и, обидѣвшись, сердито бормочетъ, вытянувъ шею.

— Важенъ генералъ, а не очень умный...

Идетъ неуклюжій Валей, ступая по грязи тяжело, какъ старая лошадь; скуластое лицо его надуто, онъ смотритъ, прищурясь, въ небо, а оттуда прямо на грудь ему падаетъ бѣлый осенній лучъ, — мѣдная пуговица на курткѣ Валея горитъ, татаринъ остановился и трогаетъ ее кривыми пальцами.

— Точно медаль получилъ, любуется...

Я быстро и крѣпко привязался къ «Хорошему дѣлу», онъ сталъ необходимъ для меня и во дни горькихъ обидъ, и въ часы радостей. Молчаливый, онъ не запрещалъ мнѣ говорить обо всемъ, что приходило въ голову мою, а дѣдъ всегда обрывалъ меня строгимъ окрикомъ:

— Не болтай, бѣсова мельница!

Бабушка же была такъ полна своимъ, что ужъ не слышала и не принимала чужого.

«Хорошее дѣло» всегда слушалъ мою болтовню внимательно и часто говорилъ мнѣ, улыбаясь:

— Ну, это, братъ, не такъ, это ты самъ выдумалъ...

И всегда его краткія замѣчанія падали во-время, были необходимы, — онъ какъ будто насквозь видѣлъ все, что дѣлалось въ сердцѣ и головѣ у меня, видѣлъ

всѣ лишнія, невѣрныя слова, раньше, чѣмъ я успѣвалъ сказать ихъ, видѣлъ и отсѣкалъ прочь двумя ласковыми ударами:

— Врешь, братъ!

Я нерѣдко нарочно испытывалъ эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и разсказываю, какъ бывшее, но онъ, послушавъ немножко, отрицательно качалъ головою:

— Ну, врешь, братъ...

— А почему ты знаешь?

— Ужъ я, братъ, вижу...

Часто, отправляясь на Сѣнную площадь за водой, бабушка брала меня съ собою, и однажды мы увидѣли, какъ птятеро мѣщанъ бьютъ мужика, — свалили его на землю и рвутъ, точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра съ коромысла и, размахивая имъ, пошла на мѣщанъ, крикнувъ мнѣ:

— Бѣги прочь!

Но я испугался, побѣжалъ за нею и сталъ швырять въ мѣщанъ голышами, камнями, а она храбро тыкала мѣщанъ коромысломъ, колотила ихъ по плечамъ, по башкамъ. Вступились и еще какіе-то люди, мѣщане убѣжали, бабушка стала мыть избитаго; лицо у него было растоптано, я и сейчасъ съ отвращеніемъ вижу, какъ онъ прижималъ грязнымъ пальцемъ оторванную ноздрю и вылъ, и кашлялъ, а изъ-подъ пальца брызгала кровь въ лицо бабушкѣ, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбѣжалъ къ нахлѣбнику и сталъ разсказывать ему, онъ бросилъ работу и остановился предо мной, поднявъ длинный напильникъ, какъ саблю, глядя на меня изъ-подъ очковъ пристально и строго, а потомъ вдругъ прервалъ меня, говоря необычно внушительно:

— Прекрасно, именно такъ и было все! Очень хорошо!

Потрясенный видѣннымъ, я не успѣлъ удивиться его словамъ и продолжалъ говорить, но онъ обнялъ меня и, расхаживая по комнатѣ, спотыкаясь, заговорилъ:

— Довольно, больше не надо! Ты ужъ, братъ, все сказалъ, что надо, — понимаешь? Все!

Я замолчалъ, обидясь, но, подумавъ, съ изумленіемъ, очень памятнымъ мнѣ, понялъ, что онъ остановилъ меня во время: дѣйствительно, я все сказалъ:

— Ты, братъ, на этихъ случаяхъ не останавливайся, — это нехорошо запоминать! — сказалъ онъ.

Иногда онъ неожиданно говорилъ мнѣ слова, которыя такъ и остались со мною на всю жизнь. Разсказываю я ему о врагѣ моемъ Клюшниковѣ, бойцѣ изъ Новой улицы, толстомъ, большеголовомъ мальчикѣ, котораго ни я не могъ одолѣть въ бою, ни онъ меня. «Хорошее дѣло» внимательно выслушалъ горести мои и сказалъ:

— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — въ быстротѣ движенія; чѣмъ быстрѣй, тѣмъ сильнѣй, — понялъ?

Въ слѣдующее воскресенье я попробовалъ дѣйствовать кулаками быстрѣе и легко побѣдилъ Клюшникова. Это еще болѣе подняло мое вниманіе къ словамъ нахлѣбника.

— Всякую вещь надо умѣть взять, — понимаешь? Это очень трудно — умѣть взять!

Я не понялъ ничего, но невольно запоминалъ такія и подобныя слова, — именно потому запоминалъ, что въ простотѣ этихъ словъ было нѣчто досадно-таинственное: вѣдь, не требовалось никакого особаго умѣнья взять камень, кусокъ хлѣба, чашку, молотокъ!

А въ домѣ «Хорошее дѣло» все больше не любили; даже ласковая кошка веселой постоялки не влѣзала на колѣни къ нему, какъ лазала ко всѣмъ, и не шла на ласковый зовъ его. Я ее билъ за это, трепалъ ей уши и, чуть не плача, уговаривалъ ее не боятъся человѣка.

— У меня одежда пахнетъ кислотами, — вотъ кошка и не идетъ ко мнѣ, — объяснялъ онъ, но я зналъ, что всѣ, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлѣбнику, невѣрно и обидно.

— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка. — Гляди, научитъ онъ тебя чему-нибудь...

А дѣдъ жестоко колотилъ меня за каждое посѣщеніе нахлѣбника, которое становилось извѣстно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорилъ «Хорошему дѣлу» о томъ, что мнѣ запрещаютъ знакомство съ нимъ, но откровенно разсказывалъ, какъ относятся къ нему въ домѣ.

— Бабушка тебя боится; она говоритъ — чернокнижникъ ты, а дѣдушка тоже, что ты Богу врагъ и людямъ опасный...

Онъ дергалъ головою, какъ бы отгоняя мухъ; на мѣловомъ его лицѣ розовато вспыхивала улыбка, отъ которой у меня сжималось сердце и зеленѣло въ глазахъ.

— Я, братъ, вижу ужъ! — тихонько говорилъ онъ. — Это, братъ, грустно, а?

— Да!

— Грустно, братъ...

Наконецъ, его выжили.

Однажды я пришелъ къ нему послѣ утренняго чая и вижу, что онъ, сидя на полу, укладываетъ свои вещи въ ящики, тихонько напѣвая о розѣ Сарона.

— Ну, прощай, братъ, вотъ я и уѣзжаю...

— Зачѣмъ?

Онъ пристально посмотрѣлъ на меня, говоря:

— Развѣ ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

— Это кто сказалъ?

— Дѣдушка...

— Вретъ онъ!

«Хорошее дѣло» потянулъ меня за руку къ себѣ, и когда я сѣлъ на полъ, онъ заговорилъ тихонько:

— Не сердись! А я, братъ, подумалъ, что ты знаешь, да не сказалъ мнѣ; это нехорошо, подумалъ я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

— Послушай-ко, — почти шопотомъ говорилъ онъ, улыбаясь. — Ты помнишь, я тебѣ сказалъ: не ходи ко мнѣ?

Я кивнулъ головой.

— Обидѣлся ты на меня, да?

— Да...

— А я, братъ, не хотѣлъ тебя обидѣть; я, видишь ли, зналъ: если ты со мной подружишься, твои станутъ ругать тебя, — такъ? Было такъ? Ты понялъ, почему я сказалъ это?

Онъ говорилъ, словно маленькій, однихъ лѣтъ со мною; а я страшно обрадовался его словамъ; мнѣ даже показалось, что я давно, еще тогда, понялъ его; я такъ и сказалъ:

— Это я давно понялъ!

— Ну, вотъ! Такъ-то, братъ. Вотъ это самое, голубчикъ...

У меня нестерпимо заныло сердце.

— Отчего они не любятъ тебя никто?

Онъ обнялъ меня, прижалъ къ себѣ и отвѣтилъ, подмигнувъ:

— Чужой, — понимаешь? Вотъ за это самое. Не такой...

Я дергалъ его за рукавъ, не зная, не умѣя, что сказать.

— Не сердись, — повторилъ онъ и шопотомъ, наухо добавилъ: — Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текутъ изъ-подъ мутныхъ очковъ.

И потомъ, какъ всегда, мы долго сидѣли въ молчанiи, лишь изрѣдка перекидываясь краткими словами.

Вечеромъ онъ уѣхалъ, ласково простившись со всѣми, крѣпко обнявъ меня. Я вышелъ за ворота и видѣлъ, какъ онъ трясся на телѣгѣ, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчасъ послѣ его отъѣзда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходилъ изъ угла въ уголъ и мѣшалъ ей.

— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.

— Вы зачѣмъ прогнали его?

— А ты поговори!

— Дураки вы всѣ, — сказалъ я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

— Да ты ошалѣлъ, пострѣлъ!

— Не ты, а всѣ другiе дураки, — поправился я, но это ея не успокоило.

За ужиномъ дѣдъ говорилъ:

— Ну, слава Богу! А то, бывало, какъ увижу его, — ножъ въ сердце: охъ, надобно выгнать!

Я со зла изломалъ ложку и снова потерпѣлъ.

Такъ кончилась моя дружба съ первымъ человѣкомъ изъ безконечнаго ряда чужихъ людей въ родной своей странѣ, — лучшихъ людей ея...

IX.

Въ дѣтствѣ я представляю самъ себя ульемъ, куда разные простые сѣрые люди сносили, какъ пчелы, медъ своихъ знаній и думъ о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чѣмъ могъ. Часто медъ этотъ бывалъ грязенъ и горекъ, но всякое знаніе — все-таки медъ.

Послѣ отъѣзда «Хорошаго дѣла» со мною подружился дядя Петръ. Онъ былъ похожъ на дѣда: такой же сухонькій, аккуратный, чистый; но былъ онъ ниже дѣда ростомъ и весь меньше его; онъ походилъ на подростка, нарядившагося для шутки старикомъ. Лицо у него было плетеное, какъ рѣшето, все изъ тонкихъ кожаныхъ жгутиковъ, между ними прыгали, точно чижи въ клѣткѣ, смѣшные бойкіе глаза съ желтоватыми бѣлками. Сивые волосы его курчавились, бородка вилась кольцами; онъ курилъ трубку, дымъ ея — одного цвѣта съ волосами, — тоже завивался и рѣчь его была кудрявая, изобилуя прибаутками. Говорилъ онъ жужжащимъ голосомъ и, будто, ласково, но мнѣ всегда казалось, что онъ насмѣшничаетъ надо всѣми:

— Въ началѣ годовъ, повелѣла мнѣ барыня-графиня, Татьянъ, свѣтъ, Лексѣвна, — «будь кузнецомъ», а спустя нѣкоторое время приказываетъ: — «помогай садовнику!» Ладно; только, какъ мужика не положь — все не хорошъ! — Въ другое время она говоритъ: — «тебѣ, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня все едино, я и рыбу... Однако, только я пристрастился — прощай рыба, спасибо; а мнѣ — въ городъ ѣхать, въ извозчики, на оброкъ.

Ну, что жъ, въ извозчики, а — еще какъ? А еще ужъ ничего не поспѣли мы съ барыней перемѣнить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходитъ.

Была она старенькая и точно ее, бѣлую, однажды началъ красить разными красками пьяный маляръ, — началъ, да и не кончилъ. Ноги у нея были вывихнуты и вся она — изъ тряпокъ шита, костлявая голова съ мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая къ туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Петръ относился къ ней почтительно, не билъ и называлъ «Танькой».

Дѣдъ сказалъ ему однажды:

— Ты что это скота христіанскимъ именемъ зовешь?

— Никакъ, Василь Васильевъ, никакъ, почтенный! Христіанскаго такого имени нѣтъ — Танька, а есть — Татіана!

Дядя Петръ тоже былъ грамотенъ и весьма начитанъ отъ писанія, они всегда спорили съ дѣдомъ, кто изъ святыхъ кого святѣе; осуждали, одинъ другого строже, древнихъ грѣшниковъ; особенно же доставалось — Авессалому. Иногда споры принимали характеръ чисто грамматическій, дѣдушка говорилъ: «согрѣшихомъ, беззаконновахомъ, неправдахомъ», а дядя Петръ утверждалъ, что надо говорить «согрѣшиша, беззаконноваша, неправдоваша».

— Ино дѣло — по моему, ино — по твоему! — горячился дѣдъ, багровѣя, и дразнилъ: — Ваша̀, шиша̀.

Но дядя Петръ, окружаясь дымомъ, ехидно спрашивалъ:

— А чѣмъ лучше хомы твое? Нисколько они Богу не лучше! Богъ-отъ, можетъ, молитву слушая, думаетъ: молись какъ хошь, а цѣна тебѣ — грошъ!

— Уйди, Лексѣй! — яростно кричалъ дѣдъ, сверкая зелеными глазами.

Петръ очень любилъ чистоту, порядокъ; идя по двору, онъ всегда откидывалъ въ сторону ударомъ ноги щепки, черепки, кости, — откидывалъ и упрекалъ въ догонку:

— Лишняя вещь, а — мѣшаешь!

Онъ былъ словоохотливъ, казался добрымъ, веселымъ, но порою глаза его наливались кровью, мутнѣли и останавливались, какъ у мертваго. Бывало, сидитъ онъ гдѣ-нибудь въ углу, въ темнотѣ, скорчившись, угрюмый, нѣмой, какъ его племянникъ.

— Ты — что, дядя Петръ?

— Отойди, — говорилъ онъ, глухо и строго.

Въ одномъ изъ домиковъ нашей улицы поселился какой-то баринъ, съ шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникамъ онъ садился у окна и стрѣлялъ изъ ружья дробью въ собакъ, кошекъ, куръ, воронъ, а также и въ прохожихъ, которые не нравились ему. Однажды онъ осѣялъ бекасинникомъ бокъ «Хорошаго дѣла»; дробь не пробила кожаной куртки, но нѣсколько штукъ очутилось въ карманѣ ея; я помню, какъ внимательно нахлѣбникъ разсматривалъ сквозь очки сизыя дробины. Дѣдъ сталъ уговаривать его жаловаться, но онъ сказалъ, отбросивъ дробины въ уголъ кухни:

— Не стоитъ.

Другой разъ стрѣлокъ всадилъ нѣсколько дробинъ въ ногу дѣдушкѣ; дѣдъ разсердился, подалъ прошеніе мировому, сталъ собирать въ улицѣ потерпѣвшихъ и свидѣтелей, но баринъ вдругъ исчезъ куда-то.

И вотъ, каждый разъ, когда на улицѣ бухали выстрѣлы, дядя Петръ, — если былъ дома, — поспѣшно натягивалъ на сивую голову праздничный выгорѣвшій картузъ, съ большимъ козырькомъ, и торопливо бѣжалъ за ворота. Тамъ онъ пряталъ руки за спину, подъ кафтанъ

и, приподнявъ его какъ пѣтушиный хвостъ, выпятивъ животъ, солидно шелъ по тротуару мимо стрѣлка; пройдетъ, воротится назадъ и — снова. Мы, весь домъ, стоимъ у воротъ, изъ окна смотритъ синее лицо военнаго, надъ нимъ — бѣлокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какіе-то люди, только сѣрый, мертвый домъ Овсянникова не показываетъ никого.

Иногда, дядя Петръ гуляетъ безъ успѣха, — охотникъ, видимо не признаетъ его дичью, достойной выстрѣла, но порою, двуствольное ружье бухаетъ, разъ за разомъ:

— Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Петръ подходилъ къ намъ и, очень довольный, говоритъ:

— Въ полу хлеснулъ!

Однажды дробь попала ему въ плечо и шею; бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра:

— Что ты ему, дикóму, потакаешь? А ну, онъ глазъ тебѣ выбьетъ!

— Не-е, никакъ, Акулина Иванна, — пренебрежительно тянулъ Петръ. — Онъ стрѣлокъ никакой...

— Да ты то пó што балуешь его?

— Я развѣ балую? Мнѣ охота подразнить барина...

И разглядывая на ладони извлеченныя дробины, онъ говорилъ:

— Никакой стрѣлецъ! А вотъ у барыни-графини Татьянъ Лексѣвны, состоялъ временно въ супружеской должности, — она мужьевъ мѣняла вродѣ-бы лакеевъ, — такъ, состоялъ при ней, говорю, Мамонтъ Ильичъ, военный человѣкъ, ну, — онъ правильно стрѣлялъ! Онъ бабушка, пулями, не иначе! Поставитъ Игнашку-дурачка за далеко, шаговъ, можетъ, за сорокъ, а на поясъ дураку бутылку привяжетъ такъ, что она у него промежъ ногъ виситъ, а Игнашка ноги раскарячитъ, смѣется по глу-

пости. Мамонтъ Ильичъ наведетъ пистолетъ — бацъ! Хряснула бутылка. Только, единова, оводъ, что-ли, Игнашку укусилъ — дернулся онъ, а пуля ему въ колѣнку, въ самую, въ чашечку! Позвали лекаря, сейчасъ онъ ногу отчекрыжилъ, — готово! Схоронили ее...

— А дурачекъ?

— Онъ — ничего. Дураку ни ногъ, ни рукъ не надо, онъ и глупостью своей сытно кормится. Глупаго всякій любитъ, глупость безобидна. Сказано: и дьякъ, и повытчикъ, коли дуракъ — такъ не обидчикъ...

Бабушку эдакіе разсказы не удивляли, она сама знала ихъ десятки, а мнѣ становилось немножко жутко, я спрашивалъ Петра:

— А до смерти убить можетъ баринъ?

— Отчего не мочь? Мо-ожетъ. Они даже другъ друга бьютъ. Къ Татьянѣ Лексѣвнѣ пріѣхалъ уланъ, повздорили они съ Мамонтомъ, сейчасъ пистолеты въ руки, пошли въ паркъ, тамъ, около пруда, на дорожкѣ, уланъ этотъ бацъ Мамонту — въ самую печень! Мамонта — на погостъ, улана — на Кавказъ, — вотъ-те и вся недолга́! Это они — сами себя! А про мужиковъ и прочихъ — тутъ ужъ нечего говорить! Теперь имъ — поди — особо не жаль людей-то, не ихніе стали люди, ну, а прежде все-таки жалѣли, — свое добро!

— Ну, и тогда не больно жалѣли, — говоритъ бабушка.

Дядя Петръ соглашается:

— И это вѣрно: свое добро, да — дешевое...

Ко мнѣ онъ относился ласково, говорилъ со мною добродушнѣе, чѣмъ съ большими и не пряталъ глазъ, но что-то не нравилось мнѣ въ немъ. Угощая всѣхъ любимымъ вареньемъ, намазывалъ мой ломоть хлѣба гуще, привозилъ мнѣ изъ города солодовые пряники, маковую сбойну и бесѣдовалъ со мною всегда серьезно, тихонько.

— Какъ жить будемъ, сударикъ? Въ солдаты пойдешь, али въ чиновники?

— Въ солдаты.

— Это — хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. Въ попы тоже хорошо, покрикивай себѣ — Осподи помилуй — да и вся недолгá! Попу даже легше, чѣмъ солдату, а еще того легше — рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо — была-бы привычка!...

Онъ забавно изображалъ, какъ ходятъ рыбы вокругъ наживки, какъ бьются, попавъ на крючекъ окуни, голавли, лещи.

— Вотъ ты сердишься, когда тебя дѣдушко высѣкетъ, — утѣшительно говорилъ онъ. — Сердиться тутъ, сударикъ, никакъ не надобно, это тебя для науки сѣкутъ и это сѣченье — дѣтское! А вотъ госпожа моя Татьянъ Лексѣвна — ну, она сѣкла знаменито! У нея для того нáрочный человѣкъ былъ, Христофоромъ звали, такой мастакъ въ дѣлѣ своемъ, что его, бывало, сосѣди изъ другихъ усадебъ къ себѣ просятъ у барыни-графини: отпустите, сударыня, Татьянъ Лексѣвна, Христофора дворню посѣчь! И отпускала.

Онъ безобидно и подробно разсказывалъ, какъ барыня, въ кисейномъ бѣломъ платьѣ и воздушномъ платочкѣ небеснаго цвѣта, сидѣла на крылечкѣ съ колонками, въ красномъ креслицѣ, а Христофоръ стегалъ передъ нею бабъ и мужиковъ.

— И былъ, сударикъ, Христофоръ этотъ, хоша рязанской, ну, вродѣ цыгана, али хохла, усы у него до ушей, а рожа — синяя, бороду брилъ. И не то онъ — дурачекъ, не то притворялся, чтобы лишняго не спрашивали. Бывало, въ кухнѣ нальетъ воды въ чашку, поймаетъ муху, а то — таракана, жука какого и — топитъ ихъ прутикомъ, долго топитъ. А то — собственную сѣрую изыметъ изъ-за шиворота — ее топитъ...

Такіе и подобные разсказы были уже хорошо знакомы мнѣ, я много слышалъ ихъ изъ устъ бабушки и дѣда. Разнообразные, они всѣ странно схожи одинъ съ другимъ: въ каждомъ мучили человѣка, издѣвались надъ нимъ, гнали его. Мнѣ надоѣли эти разсказы, слушать ихъ не хотѣлось и я просилъ извозчика:

— Разскажи другое!

Онъ собиралъ всѣ свои морщины ко рту, потомъ поднималъ ихъ до глазъ и соглашался:

— Ладно, жадный, — другое. Вотъ, былъ у насъ поваръ...

— У кого?

— У графини Татьянъ Лексѣвны.

— Зачѣмъ ты ее зовешь Татьянъ? Развѣ она мужчина?

Онъ смѣялся тоненько.

— Конешно — барыня она, однако — были у ней усики. Черненькіе, — она изъ черныхъ нѣмцевъ родомъ, это народецъ, вродѣ араповъ. Такъ вотъ — поваръ; это, сударикъ, будетъ смѣшная исторія...

Смѣшная исторія заключалась въ томъ, что поваръ испортилъ кулебяку, и его заставили съѣсть ее всю сразу; онъ съѣлъ и захворалъ.

Я сердился:

— Это вовсе не смѣшно!

— А что смѣшно? Ну-ко, скажи!

— Я не знаю...

— Тогда — молчи!

Онъ снова плелъ скучную паутину.

Иногда, по праздникамъ, приходили въ гости братья — печальный и лѣнивый Саша Михайловъ, аккуратный, всезнающій Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроемъ по крышамъ построекъ, мы увидали на дворѣ Бетленга барина въ мѣховомъ, зеленомъ сюртукѣ; сидя на кучѣ дровъ у стѣны, онъ игралъ со щенками,

его маленькая, лысая, желтая голова была непокрыта. Кто-то изъ братьевъ предложилъ, украсть одного щенка, и тотчасъ составился остроумный планъ кражи: братья сейчасъ же выйдутъ на улицу къ воротамъ Бетленга, я испугаю барина, а когда онъ, въ испугѣ, убѣжитъ, они ворвутся во дворъ и схватятъ щенка.

— Какъ испугать?

Одинъ изъ братьевъ предложилъ:

— Ты поплюй ему на лысину!

Великъ-ли грѣхъ, наплевать человѣку на голову? Я многократно слышалъ и самъ видѣлъ, что съ нимъ поступаютъ гораздо хуже и, конечно, я честно выполнилъ взятую на себя задачу.

Былъ великій шумъ и скандалъ, на дворъ къ намъ пришла изъ дома Бетленга цѣлая армія мужчинъ и женщинъ, ее велъ молодой, красивый офицеръ и, такъ какъ братья въ моментъ преступленія смирно гуляли по улицѣ, ничего не зная о моемъ дикомъ озорствѣ, — дѣдушка выпоролъ одного меня, отмѣнно удовлетворивъ этимъ всѣхъ жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежалъ въ кухнѣ на палатяхъ, ко мнѣ влѣзъ празднично одѣтый и веселый дядя Петръ.

— Это ты ловко удумалъ, сударикъ! — шепталъ онъ. — Такъ ему и надо, старому козлу, такъ его, — плюй на нихъ! Еще-бы — камнемъ по гнилой-то башкѣ!

Предо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнилъ, какъ онъ, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивалъ, отирая желтую лысину маленькими ручками, мнѣ было нестерпимо стыдно, я ненавидѣлъ братьевъ, но — все это сразу забылось, когда я разглядѣлъ плетеное лицо извозчика: оно дрожало такъ же пугающе-противно, какъ лицо дѣда, когда онъ сѣкъ меня.

— Уйди, — закричалъ я, сталкивая Петра руками и ногами.

Онъ захихикалъ, замигалъ и слѣзъ съ палатей.

Съ той поры у меня пропало желаніе разговаривать съ нимъ, я сталъ избѣгать его и, въ то же время, началъ подозрительно слѣдить за извозчикомъ, чего-то смутно ожидая.

Вскорѣ послѣ исторіи съ бариномъ случилась еще одна. Меня давно уже занималъ тихій домъ Овсянникова, мнѣ казалось, что въ этомъ сѣромъ домѣ течетъ особенная, таинственная жизнь сказокъ.

Въ домѣ Бетленга жили шумно и весело, въ немъ было много красивыхъ барынь, къ нимъ ходили офицеры, студенты, всегда тамъ смѣялись, кричали и пѣли, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла оконъ блестѣли ясно, зелень цвѣтовъ за ними была разнообразно ярка. Дѣдушка не любилъ этотъ домъ.

— Еретики, безбожники, — говорилъ онъ о всѣхъ его жителяхъ, а женщинъ называлъ гадкимъ словомъ, смыслъ котораго дядя Петръ однажды объяснилъ мнѣ тоже очень гадко и злорадно.

Строгій и молчаливый домъ Овсянникова внушалъ дѣду почтеніе.

Этотъ одноэтажный, но высокій домъ вытянулся во дворъ, заросшій дерномъ, чистый и пустынный съ колодцемъ среди его, подъ крышей, на двухъ столбикахъ. Домъ точно отодвинулся съ улицы, прячась отъ нея. Три его окна, узкія и прорѣзанныя арками, были высоко надъ землей и стекла въ нихъ — мутныя, окрашены солнцемъ въ радугу. А по другую сторону воротъ стоялъ амбаръ, совершенно такой-же по фасаду, какъ и домъ, тоже съ тремя окнами, но фальшивыми: на сѣрую стѣну набиты наличники и въ нихъ бѣлой краской нарисованы переплеты рамъ. Эти слѣпыя окна были непріятны и весь амбаръ снова намекалъ, что домъ хочетъ спрятаться, жить незамѣтно. Что-то тихое и обиженное или тихое

и гордое было во всей усадьбѣ, въ ея пустыхъ конюшняхъ, въ сараяхъ, съ огромными воротами и тоже пустыхъ.

Иногда по двору ходилъ прихрамывая высокій старикъ, бритый, съ бѣлыми усами, волосы усовъ торчали какъ иголки. Иногда другой старикъ съ баками и кривымъ носомъ выводилъ изъ конюшни сѣрую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонкихъ ногахъ, она, выйдя на дворъ, кланялась всему вокругъ, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепалъ ее ладонью, свистѣлъ, шумно вздыхалъ, потомъ лошадь снова прятали въ темную конюшню. И мнѣ казалось, что старикъ хочетъ уѣхать изъ дома, но не можетъ, заколдованъ.

Почти каждый день на дворѣ, отъ полудня до вечера, играли трое мальчиковъ; одинаково одѣтые въ сѣрые куртки и штаны, въ одинаковыхъ шапочкахъ, круглолицые, сѣроглазые, похожіе другъ на друга до того, что я различалъ ихъ только по росту.

Я наблюдалъ за ними въ щели забора, они не замѣчали меня, а мнѣ хотѣлось, чтобы замѣтили. Нравилось мнѣ, какъ хорошо, весело и дружно они играютъ въ незнакомыя игры, нравились ихъ костюмы, хорошая заботливость другъ о другѣ, особенно замѣтная въ отношеніи старшихъ къ маленькому брату, смѣшному и бойкому коротышкѣ. Если онъ падалъ, — они смѣялись, какъ всегда смѣются надъ упавшимъ, но смѣялись не злорадно, тотчасъ же помогали ему встать, а, если онъ выпачкалъ руки или колѣна, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средній мальчикъ добродушно говорилъ:

— Вотъ усъ неуклюзый!...

Они никогда не ругались другъ съ другомъ, не обманывали одинъ другого и всѣ трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

Однажды я влѣзъ на дерево и свистнулъ имъ. — они

остановились тамъ, гдѣ засталъ ихъ свистъ, потомъ сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чемъ-то тихонько совѣщаться. Я подумалъ, что они станутъ швырять въ меня камнями, спустился на землю, набралъ камней въ карманы, за пазуху и снова влѣзъ на дерево, но они уже играли далеко отъ меня въ углу двора и видимо забыли обо мнѣ. Это было грустно, однако мнѣ не захотѣлось начать войну первому, а вскорѣ кто-то крикнулъ имъ въ форточку окна:

— Дѣти, — маршъ домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много разъ сидѣлъ я на деревѣ надъ заборомъ, ожидая, что вотъ они позовутъ меня играть съ ними, — а они не звали. Мысленно я уже игралъ съ ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивалъ и громко смѣялся, тогда они, всѣ трое, смотрѣли на меня, тихонько говоря о чемъ-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.

Однажды они начали игру въ прятки, очередь искать выпала среднему, онъ всталъ въ уголъ за амбаромъ и стоялъ честно, закрывъ глаза руками, не подглядывая, а братья его побѣжали прятаться. Старшій быстро и ловко залѣзъ въ широкія пошевни, подъ навѣсомъ амбара, а маленькій, растерявшись, смѣшно бѣгалъ вокругъ колодца, не видя, куда дѣвать себя.

— Разъ, — кричалъ старшій, — два...

Маленькій вспрыгнулъ на срубъ колодца, схватился за веревку, забросилъ ноги въ пустую бадью и бадья, глухо постукивая по стѣнкамъ сруба, исчезла.

Я обомлѣлъ, глядя, какъ быстро и безшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понялъ, что можетъ быть, и соскочилъ къ нимъ во дворъ, крича:

— Упалъ въ колодезь!...

Средній мальчикъ подбѣжалъ къ срубу въ одно время со мной, вцѣпился въ веревку, его дернуло вверхъ, обо-

жгло ему руки, но я уже успѣлъ перенять веревку, а тутъ подбѣжалъ старшій, помогая мнѣ вытягивать бадью; онъ сказалъ:

— Тихонько, пожалуйста!...

Мы быстро вытянули маленькаго, онъ тоже былъ испуганъ; съ пальцевъ правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, былъ онъ по поясъ мокрый, блѣденъ до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрывъ глаза, улыбался и тянулъ:

— Ка-акъ я па-ада-алъ...

— Ты съ ума сосолъ, вотъ сто, — сказалъ средній, обнявъ его и стирая платкомъ кровь съ лица, а старшій, нахмурясь, говорилъ:

— Идемъ, все равно, не скроешь...

— Васъ будутъ бить? — спросилъ я.

Онъ кивнулъ головой, потомъ сказалъ, протянувъ мнѣ руку:

— Ты очень быстро прибѣжалъ!

Обрадованный похвалой, я не успѣлъ взять его руку, а онъ уже снова говорилъ среднему брату:

— Идемъ, онъ простудится! Мы скажемъ, что онъ упалъ, а про колодезь — не надо!

— Да, не надо, — согласился младшій, вздрагивая. — Это я упалъ въ лужу, да?

Они ушли.

Все это разыгралось такъ быстро, что когда я взглянулъ на сучекъ, съ котораго соскочилъ во дворъ, — онъ еще качался, сбрасывая желтый листъ.

Съ недѣлю братья не выходили во дворъ, а потомъ явились болѣе шумные, чѣмъ прежде; когда старшій увидалъ меня на деревѣ, онъ крикнулъ ласково:

— Иди къ намъ!

Мы забрались подъ навѣсъ амбара, въ старыя пошевни и, присматриваясь другъ ко другу, долго бесѣдовали.

— Били васъ? — спросилъ я.

— Досталось, — отвѣтилъ старшій.

Трудно было повѣрить, что этихъ мальчиковъ тоже бьютъ, какъ меня, было обидно за нихъ.

— Зачѣмъ ты ловишь птицъ? — спрашивалъ младшій.

— Они поютъ хорошо.

— Нѣтъ, ты не лови, — пускай лучше они летаютъ, какъ хотятъ...

— Ну, ладно, не буду!

— Только ты, прежде, поймай одну и подари мнѣ.

— Тебѣ — какую?

— Веселую. И въ клѣткѣ.

— Значитъ — это чижъ.

— Коска съѣстъ, — сказалъ младшій. — И папа не позволитъ.

Старшій согласился:

— Не позволитъ...

— А мать у васъ есть?

— Нѣтъ, — сказалъ старшій, но средній поправилъ его:

— Есть, только — другая, не наша, а нашей — нѣтъ, она померла.

— Другая называется — мачеха, — сказалъ я; старшій кивнулъ головою:

— Да.

И всѣ трое задумались, отемнѣли.

По сказкамъ бабушки я зналъ, что такое мачеха, и мнѣ была понятна эта задумчивость. Они сидѣли плотно другъ съ другомъ, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнилъ вѣдьму-мачеху, которая обманомъ заняла мѣсто родной матери, и пообѣщалъ имъ:

— Еще вернется родная-то, погодите!

Старшій пожалъ плечами:

— Если умерла? Этого не бываетъ...

Не бываетъ? Господи, да сколько же разъ мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если ихъ спрыснуть живою водой, сколько разъ смерть была не настоящая, не Божья, а отъ колдуновъ и колдуній!

Я началъ возбужденно разсказывать имъ бабушкины исторіи: старшій сначала все усмѣхался и говорилъ тихонько:

— Это мы знаемъ, это же сказки...

Его братья слушали молча, маленькій, плотно сжавъ губы и надувшись, а средній, опираясь локтемъ въ колѣно, наклонился ко мнѣ и пригибалъ брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно завечерѣло, красныя облака висѣли надъ крышами, когда около насъ явился старикъ съ бѣлыми усами, въ коричневой, длинной, какъ у попа, одеждѣ и въ мѣховой, мохнатой шапкѣ.

— Это кто такое? — спросилъ онъ, указывая на меня пальцемъ.

Старшій мальчикъ всталъ и кивнулъ головою на дѣдовъ домъ:

— Онъ — оттуда...

— Кто его звалъ?

Мальчики, всѣ сразу, молча вылѣзли изъ пошевней и пошли домой, снова напомнивъ мнѣ покорныхъ гусей.

Старикъ крѣпко взялъ меня за плечо и повелъ по двору къ воротамъ; мнѣ хотѣлось плакать отъ страха предъ нимъ, но онъ шагалъ такъ широко и быстро, что я не успѣлъ заплакать, какъ уже очутился на улицѣ, а онъ, остановясь въ калиткѣ, погрозилъ мнѣ пальцемъ и сказалъ:

— Не смѣй ходить ко мнѣ!

Я разсердился:

— Вовсе я не къ тебѣ хожу, старый чортъ!

Длинной рукою своей онъ снова схватилъ меня и

повелъ по тротуару, спрашивая, точно молоткомъ колотя по головѣ моей:

— Твой дѣдъ дома?

На мое горе дѣдъ оказался дома, онъ всталъ предъ грознымъ старикомъ, закинувъ голову, высунувъ бородку впередъ и торопливо говорилъ, глядя въ глаза, тусклые и круглые, какъ семишники:

— Мать у него — въ отъѣздѣ, я человѣкъ занятой, глядѣть за нимъ некому, — ужъ вы простите, полковникъ!

Полковникъ крякнулъ на весь домъ, повернулся, какъ деревянный столбъ, и ушелъ, а меня, черезъ нѣкоторое время, выбросило на дворъ въ телѣгу дяди Петра.

— Опять нарвался, сударикъ? — спрашивалъ онъ, распрягая лошадь. — За что битъ?

Когда я разсказалъ ему — за что, онъ вспыхнулъ и зашипѣлъ:

— А ты на што подружился съ ними? Они, барчуки-змѣеныши; вонъ какъ тебя за нихъ! Ты теперь самъ ихъ отдуй — чего глядѣть!

Онъ шипѣлъ долго; обозленный побоями, я сначала слушалъ его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все непріятнѣй и напомнило мнѣ, что мальчиковъ тоже побьютъ и что они предо мной неповинны.

— Ихъ бить — не нужно, они хорошіе, а ты врешь все, — сказалъ я.

Онъ поглядѣлъ на меня и неожиданно крикнулъ:

— Пошелъ прочь съ телѣги!

— Дуракъ ты, — крикнулъ я, соскочивъ на землю.

Онъ сталъ бѣгать за мною по двору, безуспѣшно пытаясь поймать, бѣгалъ и неестественно кричалъ:

— Дуракъ я? Вру я? Такъ я жъ тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся къ ней, а онъ началъ жаловаться:

— Никакого житья нѣтъ мнѣ отъ парнишки! Я его

до пяти разъ старше, а онъ меня — по матушкѣ и всяко... и вралемъ...

Когда въ глаза мнѣ лгали, я терялся и глупѣлъ отъ удивленія; потерялся и въ эту минуту, но бабушка твердо сказала:

— Ну, это ты, Петръ, и впрямь врешь, — зазорно онъ тебя не ругалъ!

Дѣдушка повѣрилъ-бы извозчику.

Съ того дня у насъ возникла молчаливая, злая война: онъ старался будто нечаянно толкнуть меня, задѣть возжами, выпускалъ моихъ птицъ, однажды стравилъ ихъ кошкѣ и по всякому поводу жаловался на меня дѣду, всегда привирая, а мнѣ все чаще казалось, что онъ такой же мальчикъ, какъ я, только наряженъ старикомъ. Я расплеталъ ему лапти, незамѣтно раскручивалъ и надрывалъ оборы и они рвались, когда Петръ обувался; однажды насыпалъ въ шапку ему перцу, заставивъ цѣлый часъ чихать, вообще старался, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, не остаться въ долгу у него. По праздникамъ онъ цѣлые дни зорко слѣдилъ за мною и не однажды ловилъ меня на запрещенномъ — на сношеніяхъ съ барчуками; ловилъ и шелъ ябедничать къ дѣду.

Знакомство съ барчуками продолжалось, становясь все пріятнѣй для меня. Въ маленькомъ закоулкѣ, между стѣною дѣдова дома и заборомъ Овсянникова, росли: вязъ, липа и густой кустъ бузины; подъ этимъ кустомъ я прорѣзалъ въ заборѣ полукруглое отверстіе, братья поочередно или по двое подходили къ нему и мы бесѣдовали тихонько, сидя на корточкахъ или стоя на колѣняхъ. Кто-нибудь изъ нихъ всегда слѣдилъ, какъ-бы полковникъ не засталъ насъ врасплохъ.

Они разсказывали о своей скучной жизни и слышать это мнѣ было очень печально; говорили о томъ, какъ живутъ наловленныя мною птицы, о многомъ дѣтскомъ,

но никогда ни слова не было сказано ими о мачехѣ и отцѣ, — по крайней мѣрѣ я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мнѣ разсказать сказку; я добросовѣстно повторялъ бабушкины исторіи, а если забывалъ что нибудь, то просилъ ихъ подождать, бѣжалъ къ бабушкѣ и спрашивалъ ее о забытомъ. Это всегда было пріятно ей.

Я много разсказывалъ имъ и про бабушку; старшій мальчикъ сказалъ однажды, вздохнувъ глубоко:

— Бабушки должно быть всѣ очень хорошія, — у насъ тоже хорошая была...

Онъ такъ часто и грустно говорилъ: было, была, бывало, точно прожилъ на землѣ сто лѣтъ, а не одиннадцать. У него были, помню, узкія ладони, тонкіе пальцы и весь онъ — тонкій, хрупкій, а глаза — очень ясные, но кроткіе, какъ огоньки лампадокъ церковныхъ. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое довѣрчивое чувство къ нимъ, — всегда хотѣлось сдѣлать для нихъ пріятное, но старшій больше нравился мнѣ.

Увлеченный разговоромъ, я часто не замѣчалъ, какъ появлялся дядя Петръ и разгонялъ насъ тягучимъ возгласомъ.

— О-опя-ать?

Я видѣлъ, что съ нимъ все чаще повторяются припадки угрюмаго оцѣпенѣнія, даже научился заранѣе распознавать, въ какомъ духѣ онъ возвращается съ работы; обычно онъ отворялъ ворота не торопясь, петли ихъ визжали длительно и лѣниво, если же извозчикъ былъ не въ духѣ, петли взвизгивали кратко, точно охая отъ боли.

Его нѣмой племянникъ давно уѣхалъ въ деревню жениться; Петръ жилъ одинъ надъ конюшней, въ низенькой конурѣ съ крошечнымъ окномъ, полной густымъ запахомъ прѣлой кожи, дегтя, пота и табака — изъ-за этого запаха я никогда не ходилъ къ нему въ жилище. Спалъ онъ теперь, не гася лампу, что очень не нравилось дѣду.

— Гляди, сожжешь ты меня, Петръ!

— Никакъ, будь покоенъ! Я огонь на ночь въ чашку съ водой ставлю, — отвѣчалъ онъ, глядя въ сторону.

Онъ теперь вообще смотрѣлъ все какъ-то вбокъ и давно пересталъ посѣщать бабушкины вечера, не угощалъ вареньемъ, лицо его ссохлось, морщины стали глубже и ходилъ онъ, качаясь, загребая ногами, какъ больной.

Однажды, въ будній день, по утру, я съ дѣдомъ разгребалъ на дворѣ снѣгъ, обильно выпавшій за ночь, — вдругъ щеколда калитки звучно, по особенному щелкнула, на дворъ вошелъ полицейскій, прикрылъ калитку спиною и поманилъ дѣда толстымъ сѣрымъ пальцемъ. Когда дѣдъ подошелъ, полицейскій наклонилъ къ нему носатое лицо и, точно долбя лобъ дѣда, сталъ неслышно говорить о чемъ-то, а дѣдъ торопливо отвѣчалъ:

— Здѣсь! Когда? Дай-Богъ память...

И вдругъ, смѣшно подпрыгнувъ, онъ крикнулъ:

— Господи помилуй, неужто?

— Тише, — строго сказалъ полицейскій.

Дѣдъ оглянулся, увидалъ меня.

— Прибери лопаты, да ступай домой!

Я спрятался за уголъ, а они пошли въ конуру извозчика, полицейскій снялъ съ правой руки перчатку и хлопалъ ею по ладони лѣвой, говоря:

— Онъ — понимаетъ; лошадь бросилъ, а самъ — скрылся вотъ...

Я побѣжалъ въ кухню разсказать бабушкѣ все, что видѣлъ и слышалъ, она мѣсила въ квашнѣ тѣсто на хлѣбы, покачивая опыленной головою; выслушавъ меня, она спокойно сказала:

— Укралъ, видно, чего нибудь... Иди, гуляй, что тебѣ!

Когда я снова выскочилъ во дворъ, дѣдъ стоялъ у ка-

литки, снявъ картузъ и крестился, глядя въ небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся и одна нога дрожала.

— Я сказалъ — пошелъ домой! — крикнулъ онъ мнѣ, притопнувъ.

И самъ пошелъ за мною, а войдя въ кухню, позвалъ:

— Подь-ка сюда, мать!

Они ушли въ сосѣднюю комнату, долго шептались тамъ, и когда бабушка снова пришла въ кухню, мнѣ стало ясно, что случилось что-то страшное.

— Ты чего испугалась?

— Молчи, знай, — тихонько отвѣтила она.

Весь день въ домѣ было нехорошо, боязно; дѣдъ и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которыя еще болѣе сгущали тревогу.

— Ты, мать, зажги-ко лампадки вездѣ, — приказывалъ дѣдъ, покашливая.

Обѣдали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дѣдъ устало надувалъ щеки, крякалъ и ворчалъ:

— Силенъ дьяволъ противъ человѣка! Вѣдь вотъ и благочестивъ, будто, и церковникъ, а — на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таялъ этотъ серебристо-мутный зимній день, а въ домѣ становилось все безпокойнѣй, тяжелѣе.

Передъ вечеромъ пришелъ полицейскій, уже другой, рыжій и толстый, онъ сидѣлъ въ кухнѣ на лавкѣ, дремалъ посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его:

— Какъ же это дознались? — онъ отвѣчалъ не сразу и густо:

— У насъ до всего дознаются, не безпокойсь!

Помню, я сидѣлъ у окна и, нагрѣвая во рту старин-

ный грошъ, старался отпечатать на льду стекла Георгія Побѣдоносца, поражавшаго змѣя.

Вдругъ въ сѣняхъ тяжко зашумѣло, широко распахнулась дверь и Петровна оглушительно крикнула съ порога:

— Глядите, что у васъ на задахъ-то!

Увидавъ будочника, она снова метнулась въ сѣни, но онъ схватилъ ее за юбку и тоже испуганно заоралъ:

— Постой, — кто такая? Чего глядѣть?

Запнувшись за порогъ, она упала на колѣни и начала кричать, захлебываясь словами и слезами:

— Иду коровъ доить, вижу: что это у Кашириныхъ въ саду вродѣ сапога?

Тутъ яростно закричалъ дѣдъ, топая ногами:

— Врешь, дура! Не могла ты ничего въ саду видѣть, заборъ высокій, щелей въ немъ нѣтъ, врешь! Ничего у насъ нѣтъ!

— Батюшка! — выла Петровна, протягивая одну руку къ нему, а другой держась за голову. — Вѣрно, батюшка, вру вѣдь я! Иду я, а къ вашему забору слѣды и снѣгъ обмятъ въ одномъ мѣстѣ, я черезъ заборъ и заглянула, и вижу — лежитъ онъ...

— Кто-о?

Этотъ крикъ длился страшно долго и ничего нельзя было понять въ немъ; но вдругъ всѣ, точно обезумѣвъ, толкая другъ друга, бросились вонъ изъ кухни, побѣжали въ садъ, — тамъ въ ямѣ, мягко выстланной снѣгомъ, лежалъ дядя Петръ, прислонясь спиною къ обгорѣлому бревну, низко свѣсивъ голову на грудь. Подъ правымъ ухомъ у него была глубокая трещина, красная, словно ротъ, изъ нея, какъ зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрылъ глаза со страха и сквозь рѣсницы видѣлъ въ колѣняхъ Петра знакомый мнѣ шорный ножъ, а около него скрюченные, темные пальцы правой руки;

лѣвая была отброшена прочь и утонула въ снѣгу. Снѣгъ подъ извозчикомъ обтаялъ, его маленькое тѣло глубоко опустилось въ мягкій, свѣтлый пухъ и стало еще болѣе дѣтскимъ. Съ правой стороны отъ него на снѣгу краснѣлъ странный узоръ, похожій на птицу, а съ лѣвой снѣгъ былъ ничѣмъ не тронутъ, гладокъ и ослѣпительно свѣтелъ. Покорно склоненная голова упиралась подбородкомъ въ грудь, примявъ густую курчавую бороду, на голой груди въ красныхъ потокахъ застывшей крови лежалъ большой мѣдный крестъ. Отъ шума голосовъ тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричалъ полицейскій, посылая куда-то Валея, дѣдъ кричалъ:

— Не топчите слѣдовъ!

Но вдругъ нахмурился и, глядя куда-то подъ ноги себѣ, громко и властно сказалъ полицейскому:

— А ты зря орешь, служивый! Здѣсь Божье дѣло, Божій судъ, а ты со своей дрянью разной, — эхъ, вы-и!

И всѣ сразу замолчали, всѣ уставились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора въ садъ бѣжали какіе-то люди, они лѣзли черезъ заборъ отъ Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дѣдъ, оглянувшись вокругъ, не закричалъ въ отчаяніи:

— Сосѣди, что же это вы малинникъ-то ломаете, какъ же это не совѣстно вамъ!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела въ домъ...

— Что онъ сдѣлалъ? — спросилъ я; она отвѣтила:

— Али не видишь...

Весь вечеръ до поздней ночи въ кухнѣ и комнатѣ рядомъ съ нею толпились и кричали чужіе люди, командовала полиція, человѣкъ, похожій на дьякона, писалъ что-то и спрашивалъ, крякая, точно утка:

— Какъ? Какъ?

Бабушка въ кухнѣ угощала всѣхъ чаемъ, за столомъ сидѣлъ круглый человѣкъ, рябой, усатый и скрипучимъ голосомъ разсказывалъ:

— Настоящее имя — прозвище его неизвѣстно, только дознано, что родомъ онъ изъ Елатьмы. А Нѣмой, это прозвище, вовсе онъ не нѣмой и во всемъ признался. И третій признался, тутъ еще третій есть. Церкви они грабили давнымъ-давно, это главное ихъ мастерство...

— О, Господи, — вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежалъ на палатяхъ, глядя внизъ, всѣ люди казались мнѣ коротенькими, толстыми и страшными...

X.

Однажды въ субботу, рано утромъ, я ушелъ въ огородъ Петровны ловить снѣгирей; ловилъ долго, но красногрудыя, важныя птицы не шли въ западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованному насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одѣтыя инеемъ, и качались на нихъ какъ живые цвѣты, осыпая синеватыя искры снѣга. Это было такъ красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотникъ я былъ не очень страстный, процессъ нравился мнѣ всегда больше, чѣмъ результатъ; я любилъ смотрѣть, какъ живутъ пичужки и думать о нихъ.

Хорошо сидѣть одному на краю снѣжнаго поля, слушая, какъ въ хрустальной тишинѣ морознаго дня щебечутъ птицы, а гдѣ-то далеко поетъ, улетая, колокольчикъ проѣзжей тройки, грустный жаворонокъ русской зимы...

Продрогнувъ на снѣгу, чувствуя, что обморозилъ уши, я собралъ западни клѣтки, перелѣзъ черезъ заборъ въ дѣдовъ садъ и пошелъ домой, — ворота на улицу были открыты, огромный мужикъ сводилъ со двора тройку лошадей, запряженныхъ въ большія крытыя сани, лошади густо курились паромъ, мужикъ весело посвистывалъ, — у меня дрогнуло сердце.

— Кого привезъ?

Онъ обернулся, поглядѣлъ на меня изъ-подъ руки, вскочилъ на облучекъ и сказалъ:

— Попа!

Ну, это меня не касалось; если попъ, то, навѣрное, къ постояльцамъ.

— Эхъ, курочки-и, — закричалъ, засвистѣлъ мужикъ, трогая лошадей возжами, наполнивъ тишину весельемъ; лошади дружно рванули въ поле, я поглядѣлъ въ слѣдъ имъ, прикрылъ ворота, но, когда вошелъ въ пустую кухню, рядомъ въ комнатѣ раздался сильный голосъ матери, ея отчетливыя слова:

— Что же теперь — убить меня надо?

Не раздѣваясь, бросивъ клѣтки, я выскочилъ въ сѣни, наткнулся на дѣда; онъ схватилъ меня за плечо, заглянулъ въ лицо мнѣ дикими глазами и, съ трудомъ проглотивъ что-то, сказалъ хрипло:

— Мать пріѣхала, ступай! Постой... — Качнулъ меня такъ, что я едва устоялъ на ногахъ, и толкнулъ къ двери въ комнату: — Иди, иди...

Я ткнулся въ дверь, обитую войлокомъ и клеенкой, долго не могъ найти скобу, шаря дрожащими отъ холода и волненія руками, наконецъ тихонько открылъ дверь и остановился на порогѣ, ослѣпленный.

— Вотъ онъ, — говорила мать. — Господи, какой большущій! Что, не узнаешь? Какъ вы его одѣваете, ну, ужъ... Да у него уши бѣлые! Мамаша, дайте гусинаго сала скорѣй...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая съ меня одежду, повертывая меня точно мячъ, ея большое тѣло было окутано теплымъ и мягкимъ краснымъ платьемъ, широкимъ, какъ мужицкій чапанъ, его застегивали большія черныя пуговицы отъ плеча и — наискось — до подола. Никогда я не видѣлъ такого платья.

Лицо ея мнѣ показалось меньше, чѣмъ было прежде, меньше и бѣлѣе, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистѣе. Раздѣвая меня, она кидала одежду къ

порогу, ея малиновыя губы брезгливо кривились и все звучалъ командующій голосъ:

— Что молчишь? Радъ? Фу, какая грязная рубашка...

Потомъ она растирала мнѣ уши гусинымъ саломъ; было больно, но отъ нея исходилъ освѣжающій, вкусный запахъ, и это уменьшало боль. Я прижимался къ ней, заглядывая въ глаза ея, онѣмѣвшій отъ волненія, и сквозь ея слова слышалъ негромкій, невеселый голосъ бабушки:

— Своевольникъ онъ, совсѣмъ отъ рукъ отбился, даже дѣдушку не боится... Эхъ, Варя, Варя...

— Ну, не нойте, мамаша, обойдется!

Въ сравненіи съ матерью все вокругъ было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовалъ себя старымъ, какъ дѣдъ. Сжимая меня крѣпкими колѣнями, приглаживая волосы тяжелой, теплой рукой, она говорила:

— Остричь нужно. И въ школу пора. Учиться хочешь?

— Я ужъ выучился.

— Еще немножко надо. Нѣтъ, какой ты крѣпкій, а?

И смѣялась густымъ, грѣющимъ смѣхомъ, играя мною.

Вошелъ дѣдъ, сѣрый, ощетинившійся, съ покраснѣвшими глазами, она отстранила меня движеніемъ руки, громко спросивъ:

— Ну, что же, папаша? Уѣзжать?

Онъ остановился у окна, царапая ногтемъ ледъ на стеклѣ, долго молчалъ, все вокругъ напряглось, стало жуткимъ и, какъ всегда, въ минуты такихъ напряженій у меня по всему тѣлу выростали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желаніе крикнуть.

— Лексѣй, поди вонъ, — глухо сказалъ дѣдъ.

— Зачѣмъ? — спросила мать, снова привлекая меня къ себѣ.

— Никуда ты не поѣдешь, запрещаю...

Мать встала, проплыла по комнатѣ точно заревое облако, остановилась за спиной дѣда.

— Папаша, послушайте...

Онъ обернулся къ ней, взвизгнувъ:

— Молчи!

— Ну, а кричать на меня я вамъ не позволяю, — тихо сказала мать.

Бабушка поднялась съ дивана, грозя пальцемъ:

— Варвара!

А дѣдъ сѣлъ на стулъ, забормоталъ:

— Постой, я — кто? А? Какъ это?

И вдругъ взревѣлъ не своимъ голосомъ:

— Опозорила ты меня, Варька-а!...

— Уйди, — приказала мнѣ бабушка; я ушелъ въ кухню, подавленный, залѣзъ на печь и долго слушалъ, какъ, за переборкой, то — говорили всѣ сразу, перебивая другъ друга, то — молчали, словно вдругъ уснувъ. Рѣчь шла о ребенкѣ, рожденномъ матерью и отданномъ ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дѣдушка: за то-ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка?

Потомъ онъ вошелъ въ кухню встрепанный, багровый и усталый, за нимъ — бабушка, отирая полою кофты слезы со щекъ; онъ сѣлъ на скамью, опершись руками въ нее, согнувшись, вздрагивая и кусая сѣрыя губы, она опустилась на колѣни предъ нимъ, тихонько, но жарко говоря:

— Отецъ, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакія сани подламываются. Али у господъ, у купцовъ не бываетъ этого? Женщина, — гляди какая! Ну, прости, вѣдь никто не праведенъ...

Дѣдъ откинулся къ стѣнѣ, смотрѣлъ въ лицо ей и ворчалъ, криво усмѣхаясь, всхлипывая:

— Ну, да, еще-бы! А какъ же? Ты кого не простишь, ты — всѣхъ простишь, ну, да-а, эхъ, вы-и.

Наклонился къ ней, схватилъ за плечи и сталъ трясти ее, нашептывая быстро:

— А Господь, не бойсь, ничего не прощаетъ, а? У могилы, вотъ, настигъ, наказываетъ, послѣдніе дни наши, а — ни покоя, ни радости нѣтъ и — не быть! И — помяни ты мое слово! — еще нищими подохнемъ, нищими!

Бабушка взяла руки его, сѣла рядомъ съ нимъ и тихонько, легко засмѣялась.

— Эка бѣда! Чего испугался — нищими! Ну, и — нищими. Ты, знай, сиди себѣ дома, а по міру-то я пойду, — не бойсь, мнѣ подадутъ, сыты будемъ! Ты — брось-ка все.

Онъ вдругъ усмѣхнулся, повернулъ шею, точно козелъ, и, схвативъ бабушку за шею, прижался къ ней, маленькій, измятый, всхлипывая:

— Эхъ, ду-ура, блаженная ты дура, послѣдній мнѣ человѣкъ! Ничего тебѣ, дурѣ, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты-бы вспомнила: али мы съ тобой не работали, али я не грѣшилъ ради ихъ, — ну, хоть-бы теперь, хоть немножко-бы...

Тутъ и я, не стерпѣвъ больше, весь вскипѣлъ слезами, соскочилъ съ печи и бросился къ нимъ, рыдая отъ радости, что вотъ они такъ говорятъ невиданно хорошо, отъ горя за нихъ и оттого, что мать пріѣхала, и оттого, что они равноправно приняли меня въ свой плачъ, обнимаютъ меня оба, тискаютъ, кропя слезами, а дѣдъ шепчетъ въ уши и глаза мнѣ:

— Ахъ, ты, бѣсенышъ, ты тоже тутъ! Вотъ мать пріѣхала, теперь ты съ ней будешь, дѣдушку-то, стараго

чорта, злого — прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу — прочь? Эхъ, вы-и...

Развелъ руками, отстраняя насъ, и всталъ, сказавъ громко, сердито:

— Отходятъ всѣ, всѣ въ сторону наровятъ — все врозь идетъ... Ну, зови ее, что-ли! Скорѣе, ужъ...

Бабушка пошла вонъ изъ кухни, а онъ, наклоняя голову, сказалъ въ уголъ:

— Всемилостивый Господи, ну — вотъ, видишь, вотъ!

И крѣпко, гулко ударилъ себя кулакомъ въ грудь; мнѣ это не понравилось, мнѣ вообще не нравилось, какъ онъ говоритъ съ Богомъ, всегда будто хвастаясь предъ Нимъ.

Пришла мать, отъ ея красной одежды въ кухнѣ стало свѣтлѣе, она сидѣла на лавкѣ у стола, дѣдъ и бабушка — по бокамъ ея, широкіе рукава ея платья лежали у нихъ на плечахъ, она тихонько и серьезно разсказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькіе и казалось, что она — мать имъ.

Уставшій отъ волненій, я крѣпко заснулъ на палатяхъ.

Вечеромъ старики, празднично одѣвшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на дѣда, въ мундирѣ цехового старшины, въ енотовой шубѣ и брюкахъ на выпускъ, подмигнула и сказала матери:

— Ты гляди, каковъ отецъ-то, — козленокъ чистенькій!

Мать весело засмѣялась.

Когда я остался съ нею въ ея комнатѣ, она сѣла на диванъ, поджавъ подъ себя ноги, и сказала, хлопнувъ ладонью рядомъ съ собою:

— Иди ко мнѣ! Ну, какъ ты живешь — плохо, а?

Какъ я жилъ?

— Не знаю.

— Дѣдушка бьетъ?

— Теперь — не очень ужъ.

— Да? Ты разскажи мнѣ, что хочешь, — ну?

Разсказывать о дѣдушкѣ не хотѣлось, я началъ говорить о томъ, что вотъ, въ этой комнатѣ жилъ очень милый человѣкъ, но никто не любилъ его, и дѣдъ отказалъ ему отъ квартиры. Видно было, что эта исторія не понравилась матери, она сказала:

— Ну, а еще что?

Я разсказалъ о трехъ мальчикахъ, о томъ, какъ полковникъ прогналъ меня со двора, — она обняла меня крѣпко.

— Экая дрянь...

И замолчала, прищурясь, глядя въ полъ, качая головой. Я спросилъ:

— За что дѣдъ сердился на тебя?

— Я предъ нимъ виновата.

— А ты-бы привезла ему ребенка-то...

Она откачнулась, нахмурясь, закусивъ губы и — захохотала, тиская меня.

— Ахъ ты, чудовище! Ты — молчи объ этомъ, слышишь? Молчи и — не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потомъ встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородокъ, двигая густыми бровями.

На столѣ горѣла, оплывая и отражаясь въ пустотѣ зеркала сальная свѣча, грязныя тѣни ползали по полу, въ углу, передъ образомъ, теплилась лампада, ледяное окно серебрилъ лунный свѣтъ. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голыхъ стѣнахъ, на потолкѣ.

— Ты когда ложишься спать?

— Немножко погодя.

— Впрочемъ, ты днемъ спалъ, — вспомнила она и вздохнула. Я спросилъ:

— Ты уйти хочешь?

— Куда же? — удивленно откликнулась она и, приподнявъ голову мою, долго смотрѣла мнѣ въ лицо, такъ долго, что у меня слезы выступили на глазахъ.

— Ты что это?

— Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовалъ, что не будетъ она жить въ этомъ домѣ, уйдетъ.

— Ты будешь похожъ на отца, — сказала она, откидывая ногами половики въ сторону. — Бабушка разсказывала тебѣ про него?

— Да.

— Она очень любила Максима, — очень! И онъ ее тоже...

— Я знаю.

Мать посмотрѣла на свѣчу, поморщилась и погасила ее, сказавъ:

— Такъ лучше!

Да, такъ свѣжѣе и чище, перестали возиться темныя, грязныя тѣни, на полъ легли свѣтло-голубыя пятна, золотыя искры загорѣлись на стеклахъ окна.

— А гдѣ ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала нѣсколько городовъ, и все кружилась по комнатѣ безшумно, какъ ястребъ.

— А гдѣ ты взяла такое платье?

— Сама сшила. Я все себѣ дѣлаю сама.

Было пріятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говоритъ она мало, а если не спрашивать ее, такъ она и совсѣмъ молчитъ.

Потомъ она снова сѣла ко мнѣ на диванъ и мы сидѣли молча, близко прижавшись другъ ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахомъ воска, ладона, торжественно тихіе и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столомъ

мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткій сонъ.

Вскорѣ мать начала энергично учить меня «гражданской» грамотѣ: купила книжки и по одной изъ нихъ — «Родному Слову» — я одолѣлъ въ нѣсколько дней премудрость чтенія гражданской печати, но мать тотчасъ же предложила мнѣ заучивать стихи на память, и съ этого начались наши взаимныя огорченія.

Стихи говорили:

— Большая дорога, прямая дорога
Простора не мало берешь ты у Бога.
Тебя не ровняли топоръ и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читалъ «простаго», вмѣсто «простора», «рубили», вмѣсто «ровняли», «копыта», вмѣсто «копыту».

— Ну, подумай, — внушала мать, — чего — простаго? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?

Я понималъ и все-таки читалъ «простаго», самъ себѣ удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я безтолковъ и упрямъ; это было горько слышать, я очень добросовѣстно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читалъ ихъ безъ ошибокъ, но, читая вслухъ — неизбѣжно перевиралъ. Я возненавидѣлъ эти неуловимыя строки и сталъ, со зла, нарочно коверкать ихъ, нелѣпо подбирая въ рядъ однозвучныя слова; мнѣ очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякаго смысла.

Но эта забава не прошла даромъ: однажды, послѣ удачнаго урока, когда мать спросила, выучены-ли, наконецъ, стихи, я, помимо воли, забормоталъ:

— Дорога, двурога, творогъ, недорога,
Копыта, попы-то, корыто . . .

Опомнился я поздно: мать, упираясь руками въ столъ, поднялась и спросила раздѣльно:

— Это что такое?

— Не знаю, — сказалъ я, обомлѣвъ.

— Нѣтъ, все-таки?

— Это — такъ.

— Что — такъ?

— Смѣшно.

— Поди въ уголъ.

— Зачѣмъ?

Она тихо, но грозно повторила:

— Въ уголъ!

— Въ какой?

Не отвѣтивъ, она смотрѣла въ лицо мнѣ такъ, что я окончательно растерялся, не понимая — чего ей надо? Въ углу подъ образами торчалъ круглый столикъ, на немъ ваза съ пахучими сухими травами и цвѣтами, въ другомъ переднемъ углу стоялъ сундукъ, накрытый ковромъ, задній уголъ былъ занятъ кроватью, а четвертаго — не было, косякъ двери стоялъ вплоть къ стѣнѣ.

— Я не знаю, что тебѣ надо, — сказалъ я, отчаявшись понять ее.

Она опустилась, помолчала, потирая лобъ и щеки, потомъ спросила:

— Тебя дѣдушка ставилъ въ уголъ?

— Когда?

— Вообще, когда нибудь! — крикнула она, ударивъ дважды ладонью по столу.

— Нѣтъ. Не помню.

— Ты знаешь, что это наказаніе — стоять въ углу?

— Нѣтъ. Почему — наказаніе?

Она вздохнула.

— Ф-фу! Поди сюда.

Я подошелъ, спросивъ ее:

— Зачѣмъ ты кричишь на меня?

— А ты зачѣмъ нарочно перевираешь стихи?

Какъ умѣлъ, я объяснилъ ей, что вотъ, закрывъ

глаза, я помню стихи, какъ они напечатаны, но если буду читать — подвернутся другія слова:

— Ты не притворяешься?

Я отвѣтилъ — нѣтъ, но тотчасъ подумалъ: «а, можетъ быть, притворяюсь?» И вдругъ, не спѣша, прочиталъ стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо мое вдругъ точно распухло, а уши налились кровью, отяжелѣли и въ головѣ непріятно шумитъ, я стоялъ предъ матерью, сгорая въ стыдѣ, и сквозь слезы видѣлъ, какъ печально потемнѣло ея лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

— Какъ же это? — спросила она чужимъ голосомъ. — Значитъ — притворялся?

— Не знаю. Я не хотѣлъ...

— Трудно съ тобой, — сказала она, опуская голову. — Ступай!

Она стала требовать, чтобъ я все больше заучивалъ стиховъ, а память моя все хуже воспринимала эти ровныя строки и все болѣе росло, все злѣе становилось непобѣдимое желаніе, переиначить, исказить стихи, подобрать къ нимъ другія слова; это удавалось мнѣ легко, — ненужныя слова являлись цѣлыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что цѣлая строка становилась для меня невидимой и, какъ-бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрѣнію памяти. Много огорченій принесло мнѣ жалобное стихотвореніе кажется князя Вяземскаго:

— И вечерней, и ранней порою
Много старцевъ и вдовъ, и сиротъ
Христа-ради на помощь зовтеъ

а третью строку

— Подъ окошками ходятъ съ сумою,

я аккуратно пропускалъ. Мать, негодуя, разсказывала о моихъ подвигахъ дѣду; онъ зловѣще говорилъ:

— Балуетъ! Память у него есть: молитвы онъ тверже моего знаетъ. Вретъ, память у него — каменная, коли что высѣчено на ней, такъ ужъ крѣпко! Ты — выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

— Сказки — помнитъ, пѣсни — помнитъ, а пѣсни — не тѣ-ли же стихи.

Все это было вѣрно, я чувствовалъ себя виноватымъ, но какъ только принимался учить стихи — откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другія слова и тоже строились въ строки.

— Какъ у нашихъ, у воротъ
Много старцевъ и сиротъ
Ходятъ, ноютъ, хлѣба просятъ,
Наберутъ — Петровнѣ носятъ
Для коровъ ей продаютъ
И въ оврагѣ водку пьютъ.

Ночью, лежа съ бабушкой на палатяхъ, я надоѣдно твердилъ ей все, что помнилъ изъ книгъ, и все, что сочинялъ самъ; иногда она хохотала, но чаще журила меня:

— Вѣдь вотъ, знаешь ты, можешь! А надъ нищими не надо смѣяться, Господь съ ними! Христосъ былъ нищій и всѣ святые, тоже...

Я бормоталъ:

— Не люблю нищихъ
И дѣдушку — тоже,
Какъ тутъ быть?
Прости меня Боже!
Дѣдъ всегда ищетъ
За что меня бить..

— Что ты говоришь, отсохни твой языкъ! — сердилась бабушка. — Да какъ услышитъ дѣдъ эти твои слова?

— Пускай!

— Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и безъ тебя не больно хорошо, — задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

— Отчего ей не хорошо?

— Молчи, знай! Не понять тебѣ...

— Я знаю, это дѣдушка ее...

— Молчи, говорю!

Мнѣ жилось плохо, я испытывалъ чувство, близкое отчаянію, но, почему-то мнѣ хотѣлось скрыть его, я бойчился, озорничалъ. Уроки матери становились все обильнѣе, непонятнѣй, я легко одолѣвалъ ариѳметику, но терпѣть не могъ писать и совершенно не понималъ грамматики. Но главное, что угнетало меня — я видѣлъ, чувствовалъ, какъ тяжело матери жить въ домѣ дѣда; она все болѣе хмурилась, смотрѣла на всѣхъ чужими глазами, она по долгу, молча сидѣла у окна въ садъ и какъ-то выцвѣтала вся. Первые дни по пріѣздѣ, она была ловкая, свѣжая, а теперь подъ глазами у нея легли темныя пятна, она цѣлыми днями ходила не причесанная, въ измятомъ платьѣ, не застегнувъ кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одѣтая — лучше всѣхъ!

Во время уроковъ она смотрѣла углубленными глазами черезъ меня — въ стѣну, въ окно, спрашивала меня усталымъ голосомъ, забывала отвѣты и все чаще сердилась, кричала — это тоже обидно: мать должна быть справедлива, больше всѣхъ, какъ въ сказкахъ.

Иногда я спрашивалъ ее:

— Тебѣ не хорошо съ нами?

Она сердито откликалась:

— Дѣлай свое дѣло.

Я видѣлъ также, что дѣдъ готовитъ что-то, пугающее бабушку и мать. Онъ часто запирался въ комнатѣ матери и ньлъ, взвизгивалъ тамъ, какъ непріятная мнѣ

деревянная дудка кривобокаго пастуха Никанора. Во время одной изъ такихъ бесѣдъ мать крикнула на весь домъ:

— Этого не будетъ, нѣтъ!

И хлопнула дверь, а дѣдъ — завылъ.

Это было вечеромъ; бабушка, сидя въ кухнѣ у стола, шила дѣду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

— Къ постояльцамъ ушла, о, Господи!

Вдругъ въ кухню вскочилъ дѣдъ, подбѣжалъ къ бабушкѣ, ударилъ ее по головѣ и зашипѣлъ, раскачивая ушибленную руку.

— Не болтай, чего не надо, вѣдьма!

— Старый ты дуракъ, — спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. — Буду я молчать, какъ же! Всегда, все, что узнаю про затѣи твои, скажу ей...

Онъ бросился на нее и сталъ быстро колотить кулаками по большой головѣ бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

— Ну, бей, бей, дурачекъ! Ну, на, бей!

Я, съ палатей, сталъ бросать въ нихъ подушки, одѣяла, сапоги съ печи, но разъяренный дѣдъ не замѣчалъ этого, бабушка же свалилась на полъ, онъ билъ голову ея ногами, наконецъ споткнулся и упалъ, опрокинувъ ведро съ водой. Вскочилъ, отплевываясь и фыркая, дикс оглянулся и убѣжалъ къ себѣ, на чердакъ; бабушка поднялась, охая, сѣла на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочилъ съ полатей, она сказала мнѣ сердито:

— Подбери подушки и все, да поклади на печь! Надумалъ тоже: подушками швырять! Твое это дѣло? И тотъ, старый бѣсъ, разошелся, — дуракъ!

Вдругъ она охнула, сморщилась: и, наклоня голову, позвала меня:

— Взгляни-ка, чего это больно тутъ?

Я разобралъ ея тяжелыя волосы — оказалось, что глубоко подъ кожу ей вошла шпилька, я вытащилъ ее, нашелъ другую, у меня онѣмѣли пальцы.

— Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

— Что ты? Я те позову! Слава Богу, что не слышала, не видѣла она, а ты — на-ко! Пошелъ инъ прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться въ густой, черной гривѣ своей. Собравшись съ духомъ, я помогъ ей вытащить изъ-подъ кожи еще двѣ толстыя, изогнутыя шпильки:

— Больно тебѣ?

— Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь, — пройдетъ.

И стала просить меня ласково:

— А ты, голуба̀ душа, не сказывай матери-то, что онъ билъ меня, слышишь? Они и безъ того злы другъ на друга. Не скажешь?

— Нѣтъ.

— Ну, помни же! Давай-ко, уберемъ тутъ все. Лицо-то не избито у меня? Ну ладно, стало быть все шито-крыто...

Она начала подтирать полъ, а я сказалъ отъ души:

— Ты — ровно святая, мучаютъ-мучаютъ тебя, а тебѣ — ничего.

— Что глупости мелешь? Святая... Нашолъ гдѣ!

Она долго ворчала, расхаживая на четверенькахъ, а я, сидя на приступкѣ, придумывалъ — какъ-бы отомстить дѣду за нее?

Первый разъ онъ билъ бабушку на моихъ глазахъ такъ гадко и страшно. Предо мною, въ сумракѣ, пылало его красное лицо, развѣвались рыжіе волосы: въ сердцѣ у меня жгуче кипѣла обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня черезъ два, войдя зачѣмъ-то на чердакъ къ нему, я увидалъ, что онъ, сидя на полу предъ открытой укладкой, разбираетъ въ ней бумаги, а на стулѣ лежатъ его любимые святцы — двѣнадцать листовъ толстой сѣрой бумаги, раздѣленныхъ на квадраты по числу дней въ мѣсяцѣ, и въ каждомъ квадратѣ — фигурки всѣхъ святыхъ дня. Дѣдъ очень дорожилъ этими святцами, позволяя мнѣ смотрѣть ихъ только въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда былъ почему-либо особенно доволенъ мною, а я всегда разглядывалъ эти тѣсно составленныя сѣрыя маленькія и милыя фигурки съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ. Я зналъ житія нѣкоторыхъ изъ нихъ — Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и еще многихъ, мнѣ особенно нравилось грустное житіе Алексѣя, Божія человѣка и прекрасные стихи о немъ: ихъ часто и трогательно читала мнѣ бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этихъ людей и тихо утѣшаешься тѣмъ, что всегда были мученики.

Но теперь я рѣшилъ изрѣзать эти святцы и, когда дѣдъ отошелъ къ окошку, читая синюю, съ орлами, бумагу, я схватилъ нѣсколько листовъ, быстро сбѣжалъ внизъ, стащилъ ножницы изъ стола бабушки и забравшись на палати, принялся отстригать святымъ головы. Обезглавилъ одинъ рядъ и — стало жалко святцы; тогда я началъ рѣзать по линіямъ раздѣлявшимъ квадраты, но не успѣлъ искрошить второй рядъ — явился дѣдушка, всталъ на приступокъ и спросилъ:

— Тебѣ кто позволилъ святцы взять?

Увидавъ квадратики бумаги, разсѣянные по доскамъ, онъ началъ хватать ихъ, подносилъ къ лицу, бросалъ, снова хваталъ, челюсть у него скривилась, борода прыгала и онъ такъ сильно дышалъ, что бумажки слетали на полъ.

— Что ты сдѣлалъ? — крикнулъ онъ наконецъ и за ногу дернулъ меня къ себѣ; я перевернулся въ воз-

духѣ, бабушка подхватила меня на руки, а дѣдъ колотилъ кулакомъ ее, меня и визжалъ:

— Убью-у!

Явилась мать, я очутился въ углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки дѣда, летавшія предъ ея лицомъ:

— Что за безобразіе? Опомнитесь!...

Дѣдъ повалился на скамью, подъ окно, завывая:

— Убили! Всѣ, всѣ противъ меня, а-а...

— Какъ вамъ не стыдно? — глухо звучалъ голосъ матери. — Что вы все притворяетесь?

Дѣдъ кричалъ, билъ ногами по скамьѣ, его борода смѣшно торчала въ потолокъ, а глаза были крѣпко закрыты; мнѣ тоже показалось, что ему — стыдно матери, что онъ — дѣйствительно притворяется, оттого и закрылъ глаза.

— Наклею я вамъ эти куски на коленкоръ, еще лучше будетъ, прочнѣе, — говорила мать, разглядывая обрѣзки и листы. — Видите — измято все, слежалось, разсыпается...

Она говорила съ нимъ, какъ со мною, когда я во время уроковъ не понималъ чего либо, и вдругъ дѣдушка всталъ, дѣловито оправилъ рубаху, жилетъ, отхаркнулся и сказалъ:

— Сегодня же и наклей! Я тебѣ сейчасъ остальные листы принесу...

Пошелъ къ двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривымъ пальцемъ:

— А его надо сѣчь!

— Слѣдуетъ, — согласилась мать, наклонясь ко мнѣ. — Зачѣмъ ты сдѣлалъ это?

— Я — нарочно. Пусть онъ не бьетъ бабушку, а то я ему еще бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

— Промолчалъ, какъ обѣщано было.

И плюнула на полъ:

— Чтобъ у тебя языкъ вспухъ, не пошевелить-бы тебѣ его, не поворотить!

Мать поглядѣла на нее, прошлась по кухнѣ, снова подошла ко мнѣ.

— Когда онъ ее билъ?

— А ты, Варвара, постыдилась-бы, чай, спрашивать объ этомъ, твое-ли дѣло? — сердито сказала бабушка.

Мать обняла ее.

— Эхъ, мамаша, милая вы моя...

— Вотъ-те и мамаша! Отойди-ка..

Онѣ поглядѣли другъ на друга и замолчали, разошлись: въ сѣняхъ топалъ дѣдъ.

Въ первые же дни по пріѣздѣ, мать подружилась съ веселой постоялкой, женой военнаго, и почти каждый вечеръ уходила въ переднюю половину дома, гдѣ бывали и люди отъ Бетленга — красивыя барыни, офицера. Дѣдушкѣ это не нравилось, не однажды, сидя въ кухнѣ, за ужиномъ, онъ грозилъ ложкой и ворчалъ:

— Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадутъ.

Скоро онъ попросилъ постояльцевъ очистить квартиру, а когда они уѣхали — привезъ откуда-то два воза разной мебели, разставилъ ихъ въ переднихъ комнатахъ и заперъ большимъ, висячимъ замкомъ:

— Не надобно намъ стояльцевъ, я самъ гостей принимать буду!

И вотъ, по праздникамъ стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Сергѣева, большеносая, крикливая прачка, въ шелковомъ полосатомъ платьѣ и золотистой головкѣ, съ нею — сыновья: Василій — чертежникъ длинноволосый, добрый и веселый, весь одѣтый въ сѣрое; пестрый Викторъ, съ лошадиной головою, узкимъ лицомъ, обрызганный веснушками — еще въ сѣ-

нихъ, снимая галоши, онъ напѣвалъ, пискляво, точно Петрушка:

— Андрей-папа̀, Андрей-папа̀...

Это очень удивляло и пугало меня.

Пріѣзжалъ дядя Яковъ съ гитарой, привозилъ съ собою кривого и лысаго часовыхъ дѣлъ мастера, въ длинномъ, черномъ сюртукѣ, тихонькаго, похожаго на монаха. Онъ всегда садился въ уголъ, наклонялъ голову на бокъ и улыбался, странно поддерживая ее пальцемъ, воткнутымъ въ бритый, раздвоенный подбородокъ. Былъ онъ темненькій, его единый глазъ смотрѣлъ на всѣхъ какъ-то особенно пристально; говорилъ этотъ человѣкъ мало и часто повторялъ одни и тѣ-же слова:

— Не утруждайтесь, все равно-съ...

Когда я увидѣлъ его впервые, мнѣ вдругъ вспомнилось, какъ однажды давно, еще во время жизни на Новой улицѣ, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улицѣ, отъ острога на площадь ѣхала, окруженная солдатами и народомъ черная, высокая телѣга и на ней — на скамьѣ — сидѣлъ небольшой человѣкъ въ суконной круглой шапкѣ въ цѣпяхъ, на грудь ему повѣшена черная доска съ крупной надписью бѣлыми словами, — человѣкъ свѣсилъ голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цѣпями. И, когда мать сказала часовыхъ дѣлъ мастеру:

— Вотъ мой сынъ, — я испуганно попятился прочь отъ него, спрятавъ руки.

— Не утруждайтесь, — сказалъ онъ, страшно передвинувъ весь ротъ къ правому уху, охватилъ меня за поясъ, привлекъ къ себѣ, быстро и легко повернулъ кругомъ и отпустилъ, одобряя:

— Ничего, мальчикъ крѣпкій...

Я забрался въ уголъ, въ кожаное кресло, такое большое, что въ немъ можно было лежать, — дѣдушка всегда хвастался, называя его кресломъ князя Грузин-

скаго, — забрался и смотрѣлъ, какъ скучно веселятся большіе, какъ странно и подозрительно измѣняется лицо часовыхъ дѣлъ мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало; если онъ улыбался, толстыя губы его съѣзжали на правую щеку и маленькій носъ тоже ѣздилъ, какъ пельмень по тарелкѣ. Странно двигались большія, оттопыренныя уши, то приподнимаясь вмѣстѣ съ бровью зрячаго глаза, то сдвигаясь на скулы; — казалось, что если онъ захочетъ, то можетъ прикрыть ими свой носъ, какъ ладонями. Иногда онъ, вздохнувъ, высовывалъ темный, круглый какъ пестъ языкъ и, ловко дѣлая имъ правильный кругъ, гладилъ толстыя, масляныя губы. Все это было не смѣшно, а только удивляло, заставляя неотрывно слѣдить за нимъ.

Пили чай съ ромомъ, — онъ имѣлъ запахъ жженыхъ луковыхъ перьевъ; пили бабушкины наливки, желтую, какъ золото, темную, какъ деготь, и зеленую; ѣли ядреный варенецъ, сдобныя, медовыя лепешки съ макомъ, потѣли, отдувались и хвалили бабушку. Наѣвшись, красные и вспухшіе, чинно разсаживались по стульямъ, лѣниво уговаривали дядю Якова поиграть.

Онъ сгибался надъ гитарой и тренькалъ, непріятно, назойливо подпѣвая:

— Эхъ, пожили, какъ умѣли
На весь городъ нашумѣли, —
Ба-арынѣ изъ Казани
Все подробно разсказали . . .

Мнѣ думалось, что это очень грустная пѣсня, а бабушка говорила:

— Ты-бы, Яша, другое что игралъ, вѣрную-бы пѣсню, а? Помнишь, Мотря, какія, бывало, пѣсни-то пѣли?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:

— Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрѣлъ на бабушку прищурясь, какъ-будто она сидѣла очень далеко, и продолжалъ настойчиво сѣять невеселые звуки, навязчивыя слова.

Дѣдъ таинственно бесѣдовалъ съ мастеромъ, показывая ему что-то на пальцахъ, а тотъ, приподнявъ бровь, глядѣлъ въ сторону матери, кивалъ головою и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидѣла всегда между Сергѣевыми, тихонько и серьезно разговаривая съ Васильемъ, онъ вздыхалъ, говоря:

— Да-а, надъ этимъ надо думать...

А Викторъ сыто улыбался, шаркалъ ногами и вдругъ пискляво пѣлъ:

— Андрей-папа̀, Андрей-папа̀.

Всѣ, удивленно примолкнувъ, смотрѣли на него, а прачка важно объясняла:

— Это онъ изъ кіятра взялъ, это тамъ поютъ...

Было два или три такихъ вечера, памятныхъ своей давящей скукой, потомъ часовыхъ дѣлъ мастеръ явился днемъ, въ воскресенье, тотчасъ послѣ поздней обѣдни. Я сидѣлъ въ комнатѣ матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисеромъ, неожиданно и быстро пріоткрылась дверь, бабушка сунула въ комнату испуганное лицо и тотчасъ исчезла, громко шепнувъ:

— Варя — пришолъ!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на порогѣ всталъ дѣдъ и сказалъ торжественно:

— Одѣвайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

— Куда?

— Иди, съ Богомъ! Не спорь. Человѣкъ онъ спокойный, въ своемъ дѣлѣ — мастеръ и Лексѣю — хорошій отецъ...

Дѣдъ говорилъ необычно важно и все гладилъ ла-

донями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотѣли вытянуться впередъ и онъ боролся противъ нихъ.

Мать спокойно перебила:

— Я вамъ говорю, что этому не бывать...

Дѣдъ шагнулъ къ ней, вытянулъ руки, точно ослѣпшій, нагибаясь, ощетинившись и захрипѣлъ:

— Иди! А то — поведу! За косы...

— Поведете? — спросила мать, вставая; лицо у нея побѣлѣло, глаза жутко съузились, она быстро стала срывать съ себя кофту, юбку и, оставшись въ одной рубахѣ, подошла къ дѣду: — Ведите!

Онъ оскалилъ зубы, грозя ей кулакомъ:

— Варвара, одѣвайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

— Ну, идемте!

— Прокляну, — шопотомъ сказалъ дѣдъ.

— Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дѣдъ схватилъ ее за подолъ рубахи, припалъ на колѣни и зашепталъ:

— Варвара, дьяволъ, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныдъ:

— Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу, она загоняла ее въ дверь и ворчала сквозь зубы:

— Варька, дура, — что ты? Пошла, безстыдница.

Втолкнувъ ее въ комнату, заперла дверь на крюкъ и наклонилась къ дѣду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

— У-у, старый бѣсъ, безтолковый!

Посадили его на диванъ, онъ шлепнулся, какъ тряпичная кукла, открылъ ротъ и замоталъ головой; бабушка крикнула матери:

— Одѣнься, ты!

Поднимая съ пола платье, мать сказала:

— Я не пойду къ нему, — слышите?

Бабушка столкнула меня съ дивана:

— Принеси ковшъ воды, скорѣй!

Говорила она тихо, почти шопотомъ, спокойно и властно. Я выбѣжалъ въ сѣни — въ передней половинѣ дома мѣрно топали тяжелые шаги, а въ комнатѣ матери прогудѣлъ ея голосъ:

— Завтра уѣду!

Я вошелъ въ кухню, сѣлъ у окна, какъ во снѣ.

Стоналъ и всхлипывалъ дѣдъ, ворчала бабушка, потомъ хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнивъ, зачѣмъ меня послали, я зачерпнулъ мѣднымъ ковшомъ воды, вышелъ въ сѣни — изъ передней половины явился часовыхъ дѣлъ мастеръ, нагнувъ голову, гладя рукою мѣховую шапку и крякая. Бабушка, прижавъ руки къ животу, кланялась въ спину ему и говорила тихонько:

— Сами знаете, — насильно милъ не будешь...

Онъ запнулся за порогъ крыльца и выскочилъ на дворъ, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакавъ, не то — смѣясь.

— Что ты? — спросилъ я, подбѣжавъ.

Она вырвала у меня ковшъ, обливъ мнѣ ноги и крикнувъ:

— Это куда же ты за водой-то ходилъ? Запри дверь!

И ушла въ комнату матери, а я — снова въ кухню, слушать, какъ они, рядомъ, охаютъ, стонутъ и ворчатъ, точно передвигая съ мѣста на мѣсто непосильныя тяжести.

День былъ свѣтлый; въ два окна, сквозь ледяныя стекла смотрѣли косые лучи зимняго солнца; на столѣ, убранномъ къ обѣду, тускло блестѣла оловянная посуда, графинъ съ рыжимъ квасомъ и другой съ темно-зеленой дѣдовой водкой, настоенной на буквицѣ и звѣробоѣ. Въ проталины оконъ былъ видѣнъ ослѣпительно сверкаю-

щій снѣгъ на крышахъ, искрились серебряные чепчики на столбахъ забора и скворешнѣ. На косякахъ оконъ, въ клѣткахъ, пронизанныхъ солнцемъ, играли мои птицы: щебетали веселые, ручные чижи, скрипѣли снѣгири, заливался щеголъ. Но веселый, серебряный и звонкій этотъ день не радовалъ, былъ не нуженъ и все было ненужно. Мнѣ захотѣлось выпустить птицъ, я сталъ снимать клѣтки — вбѣжала бабушка, хлопая себя руками по бокамъ и бросилась къ печи, ругаясь.

— А, окаянные, раздуй васъ горой! Ахъ, ты, дура старая, Акулина...

Вытащила изъ печи пирогъ, постучала пальцемъ по коркѣ и озлобленно плюнула.

— Ну — засохъ! Вотъ-те и разогрѣла! Ахъ, демоны, чтобъ васъ разорвало всѣхъ! Ты чего вытаращилъ буркалы, сычъ? Такъ-бы всѣхъ васъ и перебила, какъ худые горшки.

И — заплакала, надувшись, переворачивая пирогъ со стороны на сторону, стукая пальцами по сухимъ коркамъ, большія слезы грузно шлепались на нихъ.

Въ кухню вошли дѣдъ съ матерью; она швырнула пирогъ на столъ такъ, что тарелки подпрыгнули.

— Вотъ, глядите, что сдѣлалось изъ за васъ, ни дна бы вамъ, ни покрышки!

Мать, веселая и спокойная, обняла ее, уговаривая не огорчаться, дѣдушка, измятый, усталый, сѣлъ за столъ и, навязывая салфетку на шею, ворчалъ, щуря отъ солнца затекшіе глаза.

— Ладно, ничего! Ѣдали и хорошіе пироги. Господь — скуповатъ онъ, за года минутами платитъ... Онъ процента не признаетъ. Садись-ка, Варя... ладно!

Онъ былъ словно безуменъ, все время обѣда говорилъ о Богѣ, о нечестивомъ Ахавѣ, о тяжелой долѣ быть отцомъ — бабушка сердито останавливала его:

— А ты — ѣшь, знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

— Что, испугался давеча? — спросила она, толкнувъ меня.

Нѣтъ, я не очень испугался тогда, но теперь мнѣ было неловко, не понятно.

Ѣли они, какъ всегда по праздникамъ, утомительно долго, много, и казалось, что эти не тѣ люди, которые полчаса тому назадъ кричали другъ на друга, готовые драться, кипѣли въ слезахъ и рыданіяхъ. Какъ-то не вѣрилось уже, что все это они дѣлали серьезно и что имъ трудно плакать. И слезы, и крики ихъ, и всѣ взаимныя мученія, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мнѣ, все меньше возбуждали меня, все слабѣе трогали сердце.

Долго спустя, я понялъ, что русскіе люди, по нищетѣ и скудости жизни своей, вообще любятъ забавляться горемъ, играютъ имъ, какъ дѣти, и рѣдко стыдятся быть несчастными.

Въ безконечныхъ будняхъ и горе — праздникъ, и пожаръ — забава; на пустомъ лицѣ и царапина — украшеніе...

XI.

Послѣ этой исторіи мать сразу окрѣпла, туго выпрямилась и стала хозяйкой въ домѣ, а дѣдъ сдѣлался незамѣтенъ, задумчивъ, тихъ, не похоже на себя.

Онъ почти перестал выходить изъ дома, все сидѣлъ одиноко на чердакѣ, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту онъ держалъ въ укладкѣ подъ замкомъ и не однажды я видѣлъ, что прежде, чѣмъ вынуть ее, дѣдъ моетъ руки. Она была коротенькая, толстая, въ рыжемъ кожаномъ переплетѣ; на синеватомъ листѣ, предъ титуломъ, красовалась фигурная надпись выцвѣтшими чернилами:

«Почтенному Василью Каширину съ благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилія, а росчеркъ изображалъ птицу въ полетѣ. Открывъ осторожно тяжелую корку переплета, дѣдъ надѣвалъ очки въ серебряной оправѣ и, глядя на эту надпись, долго двигалъ носомъ, прилаживая очки. Я не разъ спрашивалъ его — что это за книга? — онъ внушительно отвѣчалъ:

— Этого тебѣ не нужно знать. Погоди, помру — откажу тебѣ. И шубу енотовую тебѣ откажу.

Онъ сталъ говорить съ матерью мягче и меньше, ея рѣчи слушалъ внимательно, поблескивая глазами, какъ дядя Петръ, и ворчалъ, отмахиваясь:

— Ну, ладно! Дѣлай, какъ хошь...

Въ сундукахъ у него лежало множество диковинныхъ нарядовъ: штофныя юбки, атласныя душегрѣи, шел-

ковые сарафаны, тканые серебромъ, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки яркихъ цвѣтовъ, тяжелыя мордовскія мониста, ожерелья изъ цвѣтныхъ камней; онъ сносилъ все это охабками въ комнаты матери, раскладывалъ по стульямъ, по столамъ, мать любовалась нарядами, а онъ говорилъ:

— Въ наши-те годы одёжа куда красивѣй, да богаче нынѣшней была! Одёжа богаче, а жили проще, ладнѣе. Прошли времена, не воротятся! Ну, примѣряй, рядись...

Однажды мать ушла не надолго въ сосѣднюю комнату и явилась оттуда, одѣтая въ синій, шитый золотомъ сарафанъ, въ жемчужную кику, низко поклонясь дѣду, она спросила:

— Ладно-ли, сударь батюшка?

Дѣдъ крякнулъ, весь какъ-то заблестѣлъ, обошелъ кругомъ ея, разводя руками, шевеля пальцами, и сказалъ невнятно, точно сквозь сонъ:

— Эхъ, кабы тебѣ, Варвара, большія деньги, да хорошіе-бы около тебя люди...

Теперь мать жила въ двухъ комнатахъ передней половины дома, у нея часто бывали гости, чаще другихъ братья Максимовы: Петръ, мощный красавецъ офицеръ съ большущей свѣтлой бородой и голубыми глазами, тотъ самый, при которомъ дѣдъ высѣкъ меня за оплеваніе стараго барина; Евгеній, тоже высокій, тонконогій, блѣднолицый, съ черной остренькой бородкой. Его большіе глаза были похожи на сливы, одѣвался онъ въ зеленоватый мундиръ съ золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узкихъ плечахъ Онъ часто и ловко взмахивалъ головою, отбрасывая съ высокаго, гладкаго лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда разсказывалъ о чемъ-то глуховатымъ голосомъ, начиная рѣчь вкрадчивыми словами:

— Видите-ли, какъ я думаю...

Мать слушала его прищурившись, усмѣхаясь, и часто прерывала:

— Ребенокъ вы, Евгеній Васильевичъ, извините...

Офицеръ, хлопая себя широкой ладонью по колѣну, кричалъ:

— Именно же ребенокъ...

Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечеръ у матери бывали ряженые, она сама рядилась — всегда лучше всѣхъ — и уѣзжала съ гостями.

Каждый разъ, когда она съ пестрой ватагой гостей уходила за ворота, домъ точно въ землю погружался, вездѣ становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатамъ бабушка, приводя все въ порядокъ, дѣдъ стоялъ, прижавшись спиной къ теплымъ изразцамъ печи, и говорилъ самъ себѣ:

— Ну, — ладно, хорошо... Поглядимъ, что за дымъ...

Послѣ святокъ мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, въ школу. Отецъ Саши женился, мачеха съ первыхъ же дней не взлюбила пасынка, стала бить его и, по настоянію бабушки, дѣдъ взялъ Сашу къ себѣ. Въ школу мы ходили съ мѣсяцъ времени, изъ всего, что мнѣ было преподано въ ней, я помню только, что на вопросъ:

— Какъ твоя фамилія? — нельзя отвѣтить просто:

— Пѣшковъ, — а надобно сказать:

— Моя фамилія — Пѣшковъ.

А также нельзя сказать учителю:

— Ты, братъ, не кричи, я тебя не боюсь...

Мнѣ школа сразу не понравилась, братъ же первые дни былъ очень доволенъ, легко нашелъ себѣ товарищей, но однажды онъ во время урока заснулъ и вдругъ страшно закричалъ во снѣ:

— Не буду-у...

Разбуженный, онъ попросился вонъ изъ класса, былъ

жестоко осмѣянъ за это и на другой день, когда мы, идя въ школу, спустились въ оврагъ на Сѣнной площади, онъ, остановясь, сказалъ:

— Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присѣлъ на корточки, заботливо зарылъ узелъ съ книгами въ снѣгъ и ушелъ. Былъ ясный январьскій день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовалъ брату, но, скрѣпя сердце, пошелъ учиться, — не хотѣлось огорчить мать. Книги, зарытыя Сашей, конечно пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти въ школу, а на третій его поведеніе стало извѣстно дѣду.

Насъ привлекли къ суду, — въ кухнѣ за столомъ сидѣли дѣдъ, бабушка, мать и допрашивали насъ, — помню, какъ смѣшно отвѣчалъ Саша на вопросы дѣда:

— Какъ же это ты не попадаешь въ училище-то?

Саша, глядя прямо въ лицо дѣда кроткими глазами, отвѣчалъ, не спѣша:

— Забылъ, гдѣ оно.

— Забылъ?

— Да. Искалъ-искалъ...

— Ты-бы за Лексѣемъ шолъ, онъ помнитъ!

— Я его потерялъ.

— Лексѣя?

— Да.

— Это какъ же?

Саша подумалъ и сказалъ, вздохнувъ:

— Мятель была, ничего не видно.

Всѣ засмѣялись, — погода стояла тихая, ясная, Саша тоже осторожно улыбнулся, а дѣдушка ехидно спрашивалъ, оскаливъ зубы:

— Ты-бы за руку его держалъ, за поясъ?

— Я — держалъ, да меня оторвало вѣтромъ, — объяснилъ Саша.

Говорилъ онъ лѣниво, безнадежно, мнѣ было пе-

ловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, я очень удивлялся его упрямству.

Насъ выпороли и наняли намъ провожатаго, бывшаго пожарнаго, старичка со сломанной рукою, — онъ долженъ былъ слѣдить, чтобы Саша не сбивался въ сторону по пути къ наукѣ. Но это не помогло: на другой же день братъ, дойдя до оврага, вдругъ наклонился, снялъ съ ноги валянокъ и метнулъ его прочь отъ себя, снялъ другой и бросилъ въ иномъ направленіи, а самъ въ однихъ чулкахъ пустился бѣжать по площади. Старичекъ, охая, потрусилъ собирать сапоги, а затѣмъ, испуганный, повелъ меня домой.

Цѣлый день дѣдъ, бабушка и моя мать ѣздили по городу, отыскивая сбѣжавшаго, и только къ вечеру нашли Сашу у монастыря въ трактирѣ Чиркова, гдѣ онъ увеселялъ публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямымъ молчаніемъ мальчика, а онъ лежалъ со мною на полатяхъ, задравъ ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорилъ:

— Мачеха меня не любитъ, отецъ тоже не любитъ и дѣдушка не любитъ, — что же я буду съ ними жить? Вотъ спрошу бабушку, гдѣ разбойники водятся, и убѣгу къ нимъ, — тогда вы всѣ и узнаете... Бѣжимъ вмѣстѣ?

Я не могъ бѣжать съ нимъ: въ тѣ дни у меня была своя задача — я рѣшилъ быть офицеромъ съ большой, свѣтлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я разсказалъ брату планъ, онъ, подумавъ, согласился со мною:

— Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицеромъ, я ужъ буду атаманомъ, и тебѣ нужно будетъ ловить меня, и кто нибудь кого нибудь убьетъ, а то въ плѣнъ схватитъ. Я тебя не стану убивать.

— И я тебя тоже.

На этомъ и порѣшили.

Пришла бабушка, влѣзла на печь и, заглядывая къ намъ, начала говорить:

— Что, мышата? Э-эхъ, сироты, осколочки!

Пожалѣвъ насъ, она стала ругать мачеху Саши — толстую тетку Надежду, дочь трактирщика; потомъ вообще всѣхъ мачехъ, вотчимовъ и, кстати, разсказала исторію о томъ, какъ мудрый пустынникъ Іона, будучи отрокомъ, судился со своей мачехой Божьимъ судомъ; отца его, угличанина, рыбака на Бѣлоозерѣ:

— Извела молодая жена:
Напоила его крѣпкой брагою
А еще — соннымъ зеліемъ.
Положила его, соннаго,
Во дубовый челнъ, какъ во тѣсной гробъ.
А взяла она весельце кленовое
Сама выгребла посередь озера
Что на тѣ-ли, на темные омуты
На безстыжее дѣло вѣдьмино,
Тамъ нагнулася, покачнулася,
Опрокинула, вѣдьма, легокъ челнъ
Мужъ-отъ якоремъ на дно пошелъ,
А она поплыла скоро къ берегу
Доплыла, пала на землю
И завыла бабьи жалобы
Стала горе лживое оказывать.
Люди добрые ей повѣрили,
Съ нею вмѣстѣ горько плакали:
— Ой-же ты, молодая вдова!
Велико твое горе женское,
А и жизнь наша — дѣло Божіе,
А и смерть намъ Богомъ посылается!
Только пасынокъ Іонушко
Не повѣрилъ слезамъ мачехи,
Положилъ онъ ей ручку на сердце,
Говорилъ онъ ей кроткимъ голосомъ:
— Ой ты мачеха, судьба моя,
Ой ты птица ночная, хитрая,
А не вѣрю я слезамъ твоимъ:
Больно сердце у тебя бьется радошно!

А давай-ко ты, спросимъ Господа,
Всѣ святыя силы небесныя:
Пусть возьметъ кто нибудь булатный ножъ,
Да подброситъ его въ небо чистое,
Твоя правда — ножъ меня убьетъ,
Моя правда — на тебя падетъ!

Поглядѣла на него мачеха,
Злымъ огнемъ глаза ея вспыхнули,
Крѣпко она встала на ноги,
Супроти Іоны заспорила:

— Ахъ, ты, тварь неразумная,
Недоносокъ ты, выбросокъ,
Ты чего это выдумалъ?
Да ты какъ это могъ сказать?

Смотрятъ на нихъ люди, слушаютъ,
Видятъ они — дѣло темное.
Пріуныли всѣ, призадумались,
Промежду собой совѣщаются.
Послѣ вышелъ рыбакъ старенькій,
Поклонился во всѣ стороны,
Молвилъ слово рѣшоное:

— А вы дайте-ко, люди добрые,
Въ праву руку мнѣ булатный ножъ,
Я воскину его до неба,
Пусть падетъ, чья вина — найдетъ!

Дали старцу въ рученьку острый ножъ,
Взбросилъ онъ его надъ сѣдою головой,
Птицею ножъ полетѣлъ въ небеса,
Ждутъ-пождутъ — онъ не падаетъ.
Смотрятъ люди во хрустальную высь,
Шапки поснимали, тѣсно стоятъ,
Всѣ молчатъ, да и ночь нѣма,
А ножъ съ высоты все не падаетъ.
Вспыхнула на озерѣ алая заря,
Мачеха зардѣлась, усмѣхнулася,
Тутъ онъ быстрой ласточкой летитъ къ землѣ —
Прямо угодилъ въ сердце мачехѣ.

Встали на колѣни люди добрые,
Господу Богу помолилися:
— Слава Тебѣ Господи за правду Твою.

Старенькій рыбакъ взялъ Іонушку
И отвелъ его въ далекій скитъ,
Что на свѣтлой рѣкѣ Керженцѣ,
Близко невидима града Китежа . . .*)

На другой день я проснулся весь въ красныхъ пятнахъ, началась оспа. Меня помѣстили на заднемъ чердакѣ, и долго я лежалъ тамъ слѣпой, крѣпко связанный по рукамъ и по ногамъ широкими бинтами, переживая дикіе кошмары, — отъ одного изъ нихъ я едва не погибъ. Ко мнѣ ходила только бабушка, кормить меня съ ложки, какъ ребенка, разсказывать безконечныя, всегда новыя сказки. Однажды вечеромъ, когда я уже выздоравливалъ и лежалъ развязанный, — только пальцы были забинтованы въ рукавички, чтобъ я не могъ царапать лица, — бабушка почему-то запоздала придти въ обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдругъ я увидалъ ее: она лежала за дверью на пыльномъ помостѣ чердака, внизъ лицомъ, раскинувъ руки, шея у нея была на половину перерѣзана, какъ у дяди Петра, изъ угла, изъ пыльнаго сумрака къ ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращивъ зеленые глаза.

Я вскочилъ съ постели, вышибъ ногами и плечами обѣ рамы окна и выкинулся на дворъ, въ сугробъ снѣга. Въ тотъ вечеръ у матери были гости, никто не слыхалъ, какъ я билъ стекла и ломалъ рамы, мнѣ пришлось пролежать въ снѣгу довольно долго. Я ничего не сломалъ себѣ, только вывихнулъ руку изъ плеча, да сильно изрѣзался стеклами, но у меня отнялись ноги, и мѣсяца три я лежалъ, совершенно не владѣя ими; лежалъ и слушалъ, какъ все болѣе шумно живетъ домъ, какъ часто тамъ, внизу, хлопаютъ двери, какъ много ходитъ людей.

---

*) Въ 90 году, въ селѣ Колюпановкѣ, Тамб. губ., Борисоглѣбскаго уѣзда, я слышалъ иной варіантъ этой легенды: ножъ убиваетъ пасынка, оклеветавшаго мачеху.

Шаркали по крышѣ тоскливыя вьюги, за дверью на чердакѣ гулялъ-гудѣлъ вѣтеръ, похоронно пѣло въ трубѣ, дребезжали вьюшки, днемъ каркали вороны, тихими ночами съ поля доносился заунывный вой волковъ, — подъ эту музыку и росло сердце. Потомъ въ окно робко и тихонько, но все ласковѣе съ каждымъ днемъ стала заглядывать пугливая весна лучистымъ глазомъ мартовскаго солнца, на крышѣ и на чердакѣ запѣли, заорали кошки, весенній шорохъ проникалъ сквозь стѣны — ломались хрустальныя сосульки, съѣзжалъ съ конька крыши подтаявшій снѣгъ, а звонъ колоколовъ сталъ гуще, чѣмъ зимою.

Приходила бабушка; все чаще и крѣпче слова ея пахли водкой, потомъ она стала приносить съ собою большой бѣлый чайникъ, прятала его подъ кроватъ ко мнѣ и говорила, подмигивая:

— Ты, голуба душа, дѣду-то домовому не сказывай!

— Зачѣмъ ты пьешь?

— Никшни! Выростешь — узнаешь...

Пососавъ изъ рыльца чайника, отеревъ губы рукавомъ, она сладко улыбалась, спрашивая:

— Ну и вотъ, сударь ты мой, про что, бишь, я вчера сказывала?

— Про отца.

— А которое мѣсто?

Я напоминалъ ей, и долго текла ручьемъ ея складная рѣчь.

Она сама начала разсказывать мнѣ про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говоритъ:

— Видѣла я во снѣ отца твоего, идетъ, будто, полемъ съ палочкой орѣховой въ рукѣ, посвистываетъ, а слѣдомъ за нимъ пестрая собака бѣжитъ, трясетъ языкомъ. Что то частенько Максимъ Савватѣичъ снится

мнѣ сталъ, — видно безпокойна душенька его непріютная...

Нѣсколько вечеровъ подъ рядъ она разсказывала исторію отца, такую же интересную, какъ всѣ ея исторіи: отецъ былъ сыномъ солдата, дослужившагося до офицеровъ и сосланнаго въ Сибирь за жестокость съ подчиненными ему; тамъ, гдѣ-то въ Сибири, и родился мой отецъ. Жилось ему плохо, уже съ малыхъ лѣтъ онъ сталъ бѣгать изъ дома, однажды дѣдушка искалъ его по лѣсу съ собаками, какъ зайца, другой разъ, поймавъ, сталъ такъ бить, что сосѣди отняли ребенка и спрятали его.

— Маленькихъ всегда ужъ бьютъ? — спрашивалъ я, бабушка спокойно отвѣчала:

— Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лѣтъ, померъ и дѣдушка, отца взялъ себѣ крестный столяръ, приписалъ его въ цеховые города Перми и сталъ учить своему мастерству, но отецъ убѣжалъ отъ него, водилъ слѣпыхъ по ярмаркамъ, шестнадцати лѣтъ пришелъ въ Нижній и сталъ работать у подрядчика столяра на пароходахъ Колчина. Въ двадцать лѣтъ онъ былъ уже хорошимъ краснодеревцемъ, обойщикомъ и драпировщикомъ. Мастерская, гдѣ онъ работалъ, была рядомъ съ домами дѣда, на Ковалихѣ.

— Заборы-то не высокіе, а люди-то бойкіе, — говорила бабушка, посмѣиваясь. — Вотъ, собираемъ мы съ Варей малину въ саду, вдругъ онъ, отецъ твой, шасть черезъ заборъ, я, индо, испугалась: идетъ межъ яблонь эдакой могутной, въ бѣлой рубахѣ, въ плисовыхъ штанахъ, а — босый, безъ шапки, на длинныхъ волосьяхъ — ремешокъ. Это онъ — свататься привалилъ! Видала я его и прежде, мимо оконъ ходилъ, увижу — подумаю: экой парень хорошій! Спрашиваю я его, какъ подошелъ: что это, ты молодецъ, не путемъ ходишь? А онъ

на колѣнки сталъ, — Акулина, говоритъ, Ивановна, вотъ-те я весь тутъ, со всей полной душой, а вотъ — Варя, помоги ты намъ, Бога ради, мы жениться хотимъ. Тутъ я обомлѣла, и языкъ у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной и знаки ему подаетъ, а у самой — слезы на глазахъ. Ахъ, вы, говорю, пострѣли васъ горой, да что же это вы затѣяли? Да въ умѣ-ли ты, Ва́рвара? Да и ты, молодецъ, говорю, ты подумай-ко: по себѣ-ли ты березу ломишь? Дѣдушко-то нашъ о ту пору богачъ былъ, дѣти-то еще не выдѣлены, четыре дома у него, у него и деньги, и въ чести онъ, не за́ долго передъ этимъ ему дали шляпу съ позументомъ да мундиръ, за то, что онъ девять лѣтъ безсмѣнно старшиной въ цехѣ сидѣлъ, — гордый онъ былъ тогда. Говорю я, какъ надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мнѣ ихъ: потемнѣли оба. Тутъ отецъ твой сказалъ: я-де знаю, что Василій Васильевъ не отдастъ Варю добромъ за меня, такъ я ее выкраду, только ты помоги намъ; это я, чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а онъ и не сторонится: хоть камнемъ, говоритъ, бей, а — помоги, все равно, я-де не отступлюсь! Тутъ и Варвара подошла къ нему, руку на плечо его положила, да и скажи: мы говоритъ ужъ давно поженились, еще въ маѣ, намъ только обвѣнчаться нужно. Я такъ и покатилась, — ба-атюшки!

Бабушка стала смѣяться, сотрясаясь всѣмъ тѣломъ, потомъ понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнувъ:

— Ты этого еще не можешь понять, что значитъ — жениться и что вѣнчаться, только это — страшная бѣда, ежели дѣвица, не вѣнчаясь, дитя родитъ! Ты это запомни да, какъ выростешь, на такіе дѣла дѣвицъ не подбивай, тебѣ это будетъ великій грѣхъ, а дѣвица станетъ несчастна, да и дитя беззаконно, — запомни же,

гляди! Ты живи жалѣючи бабъ, люби ихъ сердечно, а не ради баловства, это я тебѣ хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стулѣ, потомъ, встрепенувшись, снова начала:

— Ну, какъ же тутъ быть? Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а онъ мнѣ разумно говоритъ: боемъ дѣла не исправишь! И она тоже: вы, говоритъ, сначала подумали-бы, что дѣлать, а драться — послѣ! Спрашиваю его: деньги-то у тебя есть? Были, говоритъ, да я на нихъ Варѣ кольцо купилъ. Что же это у тебя — трещница была? Нѣтъ, говоритъ, около ста цѣлковыхъ. А въ тѣ поры деньги были дороги, вещи — дешевы, гляжу я на нихъ, на мать твою съ отцомъ — экіе ребята, думаю, экіе дурачишки! Мать говоритъ: я кольцо это подъ полъ спрятала, чтобъ вы не увидали, его можно продать! Ну, совсѣмъ еще дѣти! Однако, такъ-ли, эдакъ-ли, уговорились мы, что вѣнчаться имъ черезъ недѣлю, а съ попомъ я сама дѣло устрою. А сама — реву, сердце дрожмя-дрожитъ, боюсь дѣдушку, да и Варѣ — жутко. Ну, наладились!

— Только былъ у отца твоего недругъ, мастеръ одинъ, лихой человѣкъ, и давно онъ обо всемъ догадался, и приглядывалъ за нами. Вотъ, обрядила я доченьку мою единую, во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за угломъ тройка ждала, сѣла она, свистнулъ Максимъ — поѣхали! Иду я домой во слезахъ — вдругъ встрѣчу мнѣ этотъ человѣкъ, да и говоритъ, подлецъ: я, говоритъ, добрый, судьбѣ мѣшать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мнѣ за это полсотни рублей! А у меня денегъ нѣтъ, я ихъ не любила, не копила, вотъ я, съ дуру, и скажи ему: нѣтъ у меня денегъ и не дамъ! Ты, говоритъ, обѣщай! Какъ это — обѣщать, а гдѣ я ихъ послѣ-то возьму? Ну, говоритъ, али трудно у богатаго мужа украсть? Мнѣ-бы, дурёхѣ, поговорить съ нимъ, задержать его, а я плюнула

въ рожу-то ему, да и пошла себѣ! Онъ — впередъ меня забѣжалъ на дворъ и — поднялъ бунтъ!

Закрывъ глаза, она говоритъ сквозь улыбку:

— Даже и сейчасъ вспомнить страшно дѣла эти дерзкія! Взревѣлъ дѣдушка-то, звѣрь-звѣремъ, — шутка-ли это ему? Онъ, бывало, глядитъ на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдамъ, за барина! Вотъ-те и дворянинъ, вотъ-те и баринъ! Пресвятая Богородица лучше насъ знаетъ, кого съ кѣмъ свести. Мечется дѣдушко по двору-то, какъ огнемъ охваченъ, вызвалъ Якова съ Михаилой, конопатаго этого мастера согласилъ, да Клима, кучера; вижу я — кистень онъ взялъ, гирю на ремешкѣ, а Михайло — ружье схватилъ, лошади у насъ были хорошія, горячія, дрожки, тарантасъ — легкіе, — ну, думаю, догонятъ! И тутъ надоумилъ меня ангелъ хранитель Варваринъ, — добыла я ножъ, да гужи-то у оглобель и подрѣзала, авось, молъ, лопнутъ дорогой! Такъ и сдѣлалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило дѣда съ Михаиломъ, да Климомъ, и задержались они, а какъ, поправившись, доскакали до церкви — Варя-то съ Максимомъ на паперти стоятъ, обвѣнчаны, слава-Те, Господи!

— Пошли, было, наши-то боемъ на Максима, ну, — онъ здоровъ былъ, сила у него была рѣдкая. Михаила съ паперти сбросилъ, руку вышибъ ему, Клима тоже ушибъ, а дѣдушка съ Яковомъ да мастеромъ этимъ — забоялись его.

— Онъ и во гнѣвѣ не терялъ разума, говоритъ дѣдушкѣ — брось кистень, не махай на меня, я человѣкъ смирный, а что я взялъ, то Богъ мнѣ далъ и отнять никому нельзя, и больше мнѣ ничего у тебя не надо. Отступились они отъ него, сѣлъ дѣдушка на дрожки, кричитъ: Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мнѣ и не хочу тебя видѣть, хошь — живи, хошь съ голоду издохни. Воротился онъ — давай меня бить, давай ру-

гать, я только покряхтываю, да помалкиваю: все пройдетъ, а чему быть, то останется! Послѣ говоритъ онъ мнѣ: ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нѣтъ нигдѣ, помни это! Я одно свое думаю: ври больше, рыжій, злоба, что ледъ, до тепла живетъ!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое что въ ея разсказѣ удивляетъ меня, дѣдъ изображалъ мнѣ вѣнчаніе матери совсѣмъ не такъ: онъ былъ противъ этого брака, онъ послѣ вѣнца не пустилъ мать къ себѣ въ домъ, но вѣнчалась она, по его разсказу — не тайно и въ церкви онъ былъ. Мнѣ не хочется спросить бабушку, кто изъ нихъ говоритъ вѣрнѣе, потому что бабушкина исторія красивѣе и больше нравится мнѣ. Разсказывая, она все время качается, точно въ лодкѣ плыветъ. Если говоритъ о печальномъ или страшномъ, то качается сильнѣй, протянувъ руку впередъ, какъ-бы удерживая что-то въ воздухѣ. Она часто прикрываетъ глаза и въ морщинахъ щекъ ея прячется слѣпая, добрая улыбка, а густыя брови чуть-чуть дрожатъ. Иногда меня трогаетъ за сердце эта слѣпая, все примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

— Первое время, недѣли двѣ и не знала я, гдѣ Варято съ Максимомъ, а потомъ прибѣжалъ отъ нея мальченко бойкенькій, сказалъ. Подождала я субботы, да будто ко всенощной иду, а сама къ нимъ. Жили они далеко, на Суетинскомъ съѣздѣ, во флигелькѣ, весь дворъ мастеровщиной занятъ, сорно, грязно, шумно, а они — ничего, ровно-бы котята, веселые оба, мурлычутъ, да играютъ. Привезла и имъ, чего можно было: чаю, сахару, крупъ разныхъ, варенья, муки, грибовъ сушоныхъ, деньжонокъ, не помню сколько, понатаскала тихонько у дѣда — вѣдь, коли не для себя, такъ и украсть можно! — Отецъ-то твой не беретъ ничего, обижается; али, говоритъ, мы нищіе? И Варвара поетъ подъ его дудку: ахъ,

зачѣмъ это, мамаша?... Я ихъ пожурила: дурачишко, говорю, я тебѣ — кто? Я тебѣ — Богоданная мать, а тебѣ, дурехѣ, — кровная! Развѣ, говорю, можно обижать меня? Вѣдь, когда мать на землѣ обижаютъ — въ небесахъ Матерь Божія горько плачетъ! Ну, тутъ Максимъ схватилъ меня на руки и давай меня по горницѣ носить, носитъ, да еще приплясываетъ, — силенъ былъ, медвѣдь! А Варька-то ходитъ, дѣвченка, павой, мужемъ хвастается, вродѣ-бы новой куклой, и все глаза заводитъ и все таково важно про хозяйство сказываетъ, будто всамдѣлишная баба — уморушка глядѣть! А ватрушки къ чаю подала, такъ объ нихъ волкъ зубы сломитъ и творогъ — дресвой разсыпается!

— Такъ оно и шло долгое время, ужъ и ты готовъ былъ родиться, а дѣдушко все молчитъ, — упрямъ, домовой! Я тихонько къ нимъ похаживаю, а онъ и зналъ это, да будто не знаетъ. Всѣмъ въ дому запрещено про Варю говорить, и всѣ молчатъ и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое — отцово сердце не нà долго нѣмо. Вотъ какъ-то пришолъ завѣтный часъ, — ночь, вьюга воетъ, въ окошки-то словно медвѣди лѣзутъ, трубы поютъ, всѣ бѣсы сорвались съ цѣпей, лежимъ мы съ дѣдушкомъ — не спится, я и скажи: плохо бѣдному въ эдакую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце не спокойно! Вдругъ дѣдушка спрашиваетъ: какъ они живутъ? Ничего, молъ, хорошо живутъ. Я, говоритъ, про кого это спросилъ? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А какъ ты догадалась, что про нихъ? Полно-ка, говорю, отецъ, дурить-то, бросилъ-бы ты эту игру, ну — кому отъ нея весело? Вздыхаетъ онъ; ахъ вы, говоритъ, черти, сѣрые вы черти! Потомъ — выспрашиваетъ: что, дескать, дуракъ этотъ большой — это про отца твоего — вѣрно, что дуракъ? Я говорю — дуракъ, кто работать не хочетъ, на чужой шеѣ сидитъ, ты-бы вотъ на Якова съ Михайлой поглядѣлъ — не эти-ли дураками-то живутъ? Кто въ дому

работникъ, кто добытчикъ? Ты. А велики-ли они тебѣ помощники? Тутъ онъ — ругать меня, и дура-то я, и подлая, и сводня и ужъ не знаю какъ! Молчу. Какъ ты, говоритъ, могла обольститься человѣкомъ, невѣдомо откуда, неизвѣстно какимъ? Я себѣ молчу, а какъ усталъ онъ, говорю: Пошолъ-бы ты, поглядѣлъ, какъ они живутъ, хорошо, вѣдь, живутъ. Много, говоритъ, чести будетъ имъ, пускай, сами придутъ... Тутъ ужъ я даже заплакала съ радости, а онъ волосы мнѣ распускаетъ, любилъ онъ волосьями моими играть, бормочетъ: не хлюпай, дура, али, говоритъ, нѣтъ души у меня? Онъ, вѣдь, раньше-то больно хорошiй былъ, дѣдушка нашъ, да какъ выдумалъ, что нѣтъ его умнѣе, съ той поры и озлился и глупымъ сталъ.

— Ну, вотъ и пришли они, мать съ отцомъ во святой день, въ прощеное воскресенье, большiе оба, гладкiе, чистые; всталъ Максимъ-то противъ дѣдушка — а дѣдъ ему по плечо, — всталъ и говоритъ: не думай, Бога ради, Василiй Васильевичъ, что пришелъ я къ тебѣ по приданое, нѣтъ, пришелъ я отцу жены моей честь воздать. Дѣдушкѣ это понравилось, усмѣхается онъ: ахъ ты, говоритъ, орясина, разбойникъ! Ну, говоритъ, будетъ баловать, живите со мной! Нахмурился Максимъ: ужъ это, дескать, какъ Варя хочетъ, а мнѣ все равно! И сразу началось у нихъ зубъ за зубъ — никакъ не сладятся! Ужъ я отцу-то твоему и мигаю, и ногой его подъ столомъ — нѣтъ, онъ все свое! Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови — темныя, бывало, сведетъ онъ ихъ, глаза-то спрячутся, лицо станетъ каменное, упрямое, и ужъ никого онъ не слушаетъ, только меня; я его любила, куда больше, чѣмъ родныхъ дѣтей, а онъ зналъ это и тоже любилъ меня! Прижмется, бывало, ко мнѣ, обниметъ, а то схватитъ на руки, таскаетъ по горницѣ и говоритъ: ты, говоритъ, настоящая мнѣ мать, какъ земля, я тебя больше Варвары люблю. А мать твоя,

въ ту пору, развеселая была озорница — бросится на него, кричитъ: какъ ты можешь такія слова говорить, пермякъ, солёны уши. И возимся, играемъ трое; хорошо жили мы, голуба-душа! Плясалъ онъ тоже рѣдкостно, пѣсни зналъ хорошія — у слѣпыхъ перенялъ, а слѣпые — лучше нѣтъ пѣвцовъ!

— Поселились они съ матерью во флигелѣ, въ саду; тамъ и родился ты, какъ разъ въ полдень — отецъ обѣдать идетъ, а ты ему встрѣчу. То-то радовался онъ, то-то бѣсновался, а ужъ мать — замаялъ просто, дурачекъ, будто и ни вѣсть какое трудное дѣло ребенка родить. Посадилъ меня на плечо себѣ и понесъ черезъ весь дворъ къ дѣдушкѣ докладывать ему, что еще внукъ явился — дѣдушка даже смѣяться сталъ: экой, говоритъ, лѣшій, ты, Максимъ!

— А дядья твои не любили его, — вина онъ не пилъ, на языкъ дерзокъ былъ и гораздъ на всякія выдумки, — горько они ему отрыгнулись! Какъ-то, о великомъ постѣ заигралъ вѣтеръ, и вдругъ по всему дому запѣло, загудѣло страшно — всѣ обомлѣли, что за навожденіе? Дѣдушко совсѣмъ струхнулъ, велѣлъ вездѣ лампадки зажечь, бѣгаетъ, кричитъ: молебенъ надо отслужить! И вдругъ все прекратилось; — еще хуже испугались всѣ. Дядя Яковъ догадался, — это, говоритъ, навѣрное, Максимомъ сдѣлано! Послѣ онъ самъ сказалъ, что наставилъ въ слуховомъ окнѣ бутылокъ разныхъ, да склянокъ, — вѣтеръ въ горлышки дуетъ, а они и гудутъ, всякая по своему. Дѣдъ погрозилъ ему: какъ-бы эти шутки опять въ Сибирь тебя не воротили, Максимъ!

— Одинъ годъ сильно морозенъ былъ, и стали въ городъ заходить волки съ поля, то собаку зарѣжутъ, то лошадь испугаютъ, пьянаго караульщика заѣли, много суматохи было отъ нихъ! А отецъ твой возьметъ ружье, лыжи надѣнетъ, да ночью въ поле, глядишь — волка притащитъ, а то двухъ. Шкуры сниметъ, головы выще-

лушитъ, вставитъ стеклянные глаза, — хорошо выходило! Вотъ и пошелъ дядя Михайло въ сѣни за нужнымъ дѣломъ, вдругъ — бѣжитъ назадъ, волосы дыбомъ, глаза выкатились, горло перехвачено — ничего не можетъ сказать. Штаны у него свалились, запутался онъ въ нихъ, упалъ, шепчетъ — волкъ! Всѣ схватили, кто, что успѣлъ, бросились въ сѣни съ огнемъ, — глядятъ, а изъ рундука и впрямь волкъ голову высунулъ! Его бить, его стрѣлять, а онъ — хоть бы что! Приглядѣлись — одна шкура, да пустая голова, а переднія ноги гвоздями прибиты къ рундуку! Дѣдъ тогда сильно — горячо разсердился на Максима. А тутъ еще Яковъ сталъ шутки эти перенимать: Максимъ то склеитъ изъ картона будто голову — носъ, глаза, ротъ сдѣлаетъ, пакли налѣпитъ за мѣсто волосъ, а потомъ идутъ съ Яковомъ по улицѣ и рожи эти страшныя въ окна суютъ — люди, конечно, боятся, кричатъ. А по ночамъ — въ простыняхъ пойдутъ, попа напугали, онъ бросился на будку, а будочникъ, тоже испугавшись, давай караулъ кричать. Много они эдакъ-то куралесили и никакъ не унять ихъ; ужъ и я говорила — бросьте, и Варя тоже, — нѣтъ, не унимаются! Смѣется Максимъ-то: больно ужъ, говоритъ, забавно глядѣть, какъ люди отъ пустяка въ страхѣ бѣгутъ, сломя голову! Поди, говори съ нимъ...

— И отдалось все это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь въ дѣдушку — обидчивый, злопамятный, и задумалъ онъ извести отца твоего. Вотъ, шли они въ началѣ зимы изъ гостей, четверо: Максимъ, дядья, да дьячекъ одинъ — его разстригли послѣ, онъ извозчика до смерти забилъ. Шли съ Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюковъ прудъ, будто покататься по льду, на ногахъ, какъ мальчишки катаются, заманили, да и столкнули его въ прорубь, — я тебѣ разсказывала это...

— Отчего дядья злые?

— Они — не злые, — спокойно говоритъ бабушка,

нюхая табакъ. — Они просто — глупые! Мишка-то хитеръ, да глупъ, а Яковъ — такъ себѣ, блаженный мужъ... Ну, столкнули они его въ воду-то, онъ вынырнулъ, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукамъ, всѣ пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — былъ онъ трезвый, а они — пьяные, онъ какъ то, съ Божьей помощью, вытянулся подъ льдомъ-то, держится вверхъ лицомъ посередь проруби, дышетъ, а они не могутъ достать его, покидали нѣкоторое время въ голову-то ему ледяшками и ушли, дескать самъ потонетъ! А онъ вылѣзъ, да бѣгомъ, да въ полицію — полиція тутъ-же, знаешь, на площади. Квартальный зналъ его и всю нашу семью, спрашиваетъ: какъ это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говоритъ:

— Упокой Господи Максима Савватѣича съ праведными Твоими, стоитъ онъ того! Скрылъ, вѣдь, онъ тотъ полиціи дѣло-то; это, говоритъ, самъ я, будучи выпивши, забрелъ на прудъ, да и свернулся въ прорубь. Квартальный говоритъ — неправда, ты не пьющій! Долго-ли коротко-ли, растерли его въ полиціи виномъ, одѣли въ сухое, окутали тулупомъ, привезли домой и самъ квартальный съ нимъ и еще двое. А Яшка-то съ Мишкой еще не поспѣли воротиться, по трактирамъ ходятъ, отца-мать славятъ. Глядимъ мы съ матерью на Максима, а онъ не похожъ на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на вискахъ будто снѣгъ, а не таетъ — посѣдѣли височки-то!

— Варвара — крикомъ-кричитъ: что съ тобой сдѣлали? Квартальный принюхивается ко всѣмъ, выспрашиваетъ, а мое сердце чуетъ, — охъ, не хорошо! Я Варю-то натравила на квартальнаго, а сама тихонько пытаю Максимушку — что сдѣлалось? Встрѣчайте, шепчетъ онъ, Якова съ Михайлой первая, научите ихъ, — говорили-бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до

Покровки, а я, дескать, въ Прядильной проулокъ свернулъ! Не спутайте, а то бѣда будетъ отъ полиціи! Я — къ дѣдушкѣ: иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота, и разсказала ему, какое зло вышло. Одѣвается онъ, дрожитъ, бормочетъ: такъ я и зналъ, того я и ждалъ, — вретъ все, ничего не зналъ! Ну, встрѣтила я дѣтокъ ладонями по рожамъ — Мишка-то со страха сразу трезвый сталъ, а Яшенька, милый, и лыка не вяжетъ, однако бормочетъ: знать ничего не знаю, это все Михайло, онъ старшо́й! Успокоили мы квартальнаго кое какъ — хорошій онъ былъ господинъ! — Охъ, говоритъ, глядите, коли случится у васъ что худое, я буду знать, чья вина. Съ тѣмъ и ушелъ. А дѣдъ подошелъ къ Максиму-то и говоритъ: ну, спасибо тебѣ, другой-бы на твоемъ мѣстѣ такъ не сдѣлалъ, я это понимаю! И тебѣ, дочь, спасибо, что добраго человѣка въ отцовъ домъ привела! Онъ, вѣдь, дѣдушка-то, когда хотѣлъ, такъ хорошо говорилъ, это ужъ послѣ, по глупости, сталъ на замокъ сердце-то запирать. Остались мы втроемъ, заплакалъ Максимъ Савватѣичъ и словно бредить сталъ: за что они меня, что худого сдѣлалъ я для нихъ? Мама — за что? Онъ меня не мамашей, а мамой звалъ, какъ маленькій, да онъ и былъ, по характеру-то, вродѣ ребенка. За что, спрашиваетъ? Я — реву, что мнѣ больше осталось? Мои дѣти-то, жалко ихъ! Мать твоя всѣ пуговицы на кофтѣ оборвала, сидитъ растрепана, какъ послѣ драки, рычитъ — уѣдемъ, Максимъ! Братья намъ враги, боюсь ихъ, уѣдемъ! Я ужъ на нее цыкнула: не бросай въ печь сору и безъ того угаръ въ домѣ! Тутъ дѣдушка дураковъ этихъ прислалъ прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щекѣ — вотъ-те и прощенье! А отецъ жалуется: какъ это вы, братцы? Вѣдь вы калѣкой могли оставить меня, какой я работникъ безъ рукъ-то? Ну, и помирились кое-какъ. Похворалъ отецъ-то, недѣль семь валялся и

нѣтъ-нѣтъ, да скажетъ: эхъ, мама, ѣдемъ съ нами въ другіе города — скушновато здѣсь! Скоро и вышло ему ѣхать въ Астрахань; ждали туда лѣтомъ царя, а отцу твоему было поручено тріумфальныя ворота строить. Съ первымъ пароходомъ поплыли они; какъ съ душой разсталась я съ ними, онъ тоже печаленъ былъ и все уговаривалъ меня — ѣхала-бы я въ Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотѣла скрыть радость свою, безстыдница... Такъ и уѣхали. Вотъ те и — все...

Она выпила глотокъ водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая въ окно на сизое небо:

— Да, были мы съ отцомъ твоимъ крови не родной, а души — одной...

Иногда, во время ея разсказа входилъ дѣдъ, поднималъ кверху лицо хорька, нюхалъ острымъ носомъ воздухъ, подозрительно оглядывая бабушку, слушалъ ея рѣчь и бормоталъ:

— Ври, ври...

Неожиданно спрашивалъ:

— Лексѣй, она тутъ пила вино?

— Нѣтъ.

— Врешь, по глазамъ вижу.

И нерѣшительно уходилъ. Бабушка, подмигнувъ въ слѣдъ ему, говорила какую нибудь прибаутку:

— Проходи, Авдѣй, не пугай лошадей...

Однажды онъ, стоя среди комнаты, глядя въ полъ, тихонько спросилъ:

— Мать?

— Ай?

— Ты видишь, что-ли, дѣла-то?

— Вижу.

— Что-жъ ты думаешь?

— Судьба, отецъ! Помнишь, ты все говорилъ про дворянина?

— Н-да.

— Вотъ онъ и есть.

— Голь.

— Ну, это ея дѣло!

Дѣдъ ушелъ. Почуявъ что-то недоброе, я спросилъ бабушку:

— Про что вы говорили?

— Все-бы тебѣ знать, — ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. — Съ молоду все узнаешь — подъ старость и спросить не о чѣмъ будетъ... — И засмѣялась, покачивая головою.

— Ахъ, дѣдушка, дѣдушка, малая ты пылинка въ Божьемъ глазу! Ленька, ты только молчи про это! — разорился, вѣдь, дѣдушка-то до тла! Далъ барину одному большущія деньги-тысячи, а баринъ-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидѣла молча, а большое лицо ея морщилось, становясь печальнымъ, темнѣя.

— Ты о чемъ думаешь?

— А, вотъ, думаю, что тебѣ разсказать? — встрепенулась она. — Ну, про Евстигнѣя, — ладно? Вотъ, значитъ:

— Жилъ-былъ дьякъ Евстигнѣй,
Думалъ онъ — нѣтъ его умнѣй,
Ни въ попахъ, ни въ боярахъ,
Ни во псахъ, самыхъ старыхъ!
Ходитъ онъ кичливо, какъ пыринъ,
А считаетъ себя птицей Сиринъ,
Учитъ сосѣдей, сосѣдокъ,
Все ему не такъ, да не эдакъ.
Взглянетъ на церковь — низка!
Покосится на улицу — узка!
Яблоко ему — не румяно!
Солнышко взошло — рано!
На что не укажутъ Евстигнѣю,
А онъ: —

бабушка надуваетъ щеки, выкатываетъ глаза, доброе лицо ея дѣлается глупымъ и смѣшнымъ, она говоритъ лѣнивымъ, тяжелымъ голосомъ:

— «Я-ста самъ эдакъ-то умѣю,
Я-ста сдѣлалъ-бы и лучше вещь эту,
Да все время у меня нѣту.»

Помолчавъ, улыбаясь, она тихонько продолжаетъ:

— И пришли ко дьяку въ ночу бѣси:
«Тебѣ, дьякъ, не угодно здѣся?
Такъ пойдемъ-ко ты съ нами во адъ, —
Хорошо тамъ уголья горятъ!»
Не поспѣлъ умный дьякъ надѣть шапки,
Подхватили его бѣси въ свои лапки
Тащатъ, щекотятъ, воютъ,
На плечи сѣли ему двое,
Сунули его въ адское пламя:
«Ладно-ли, Евстигнѣюшка, съ нами?»
Жарится дьякъ, озирается,
Руками въ бока подпирается,
Губы у него спѣсиво надуты,
«А — угарно, говоритъ, у васъ въ аду-то!»

Закончивъ басню лѣнивымъ, жирнымъ голосомъ, она, перемѣнивъ лицо, смѣется тихонько, поясняя мнѣ:

— Не сдался, Евстигнѣй-то, крѣпко на своемъ стоитъ, упрямъ, вродѣ-бы дѣдушко нашъ! Ну-ко, спи, пора...

Мать всходила на чердакъ ко мнѣ рѣдко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивѣе, все лучше одѣвалась, но и въ ней, какъ въ бабушкѣ, я чувствовалъ что-то новое, спрятанное отъ меня, чувствовалъ и догадывался.

Все меньше занимали меня сказки бабушки и даже то, что разсказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разроставшейся съ каждымъ днемъ тревоги.

— Отчего безпокоится отцова душа? — спрашивалъ я бабушку.

— А какъ это знать? — говорила она, прикрывая глаза. — Это дѣло Божіе, небесное, намъ не вѣдомое...

Ночами, безсонно глядя, сквозь синія окна, какъ медленно плывутъ по небу звѣзды, я выдумывалъ какія-то печальныя исторіи — главное мѣсто въ нихъ занималъ отецъ, — онъ всегда шелъ куда-то, одинъ, съ палкой въ рукѣ и — мохнатая собака сзади его...

XII.

Однажды я заснулъ подъ вечеръ, а проснувшись, почувствовалъ, что и ноги проснулись, спустилъ ихъ съ кровати, — они снова отнялись, но уже явилась увѣренность, что ноги цѣлы, и я буду ходить. Это было такъ ярко-хорошо, что я закричалъ отъ радости, придавилъ всѣмъ тѣломъ ноги къ полу, свалился, но тотчасъ же поползъ къ двери, по лѣстницѣ, живо представляя, какъ всѣ внизу удивятся, увидавъ меня.

Не помню, какъ я очутился въ комнатѣ матери у бабушки на колѣняхъ, предъ нею стояли какіе то чужіе люди, сухая, зеленая старуха строго говорила, заглушая всѣ голоса:

— Напоить его малиной, закутать съ головой...

Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо съ бородавкой подъ глазомъ, даже кустикъ волосъ на бородавкѣ былъ какъ трава. Опустивъ нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрѣла на меня зелеными зубами, прикрывъ глаза рукою въ черной кружевной перчаткѣ безъ пальцевъ.

— Это кто? — спросилъ я, оробѣвъ. Дѣдъ отвѣтилъ непріятнымъ голосомъ:

— Это еще тебѣ бабушка...

Мать, усмѣхаясь, подвинула ко мнѣ Евгенія Максимова.

— Вотъ и отецъ...

Она стала что-то говорить быстро, не понятно, Максимовъ, прищурясь, наклонился ко мнѣ и сказалъ:

— Я тебѣ подарю краски.

Въ комнатѣ было очень свѣтло, въ переднемъ углу, на столѣ горѣли серебрянные канделябры по пяти свѣчъ, между ними стояла любимая икона дѣда «Не рыдай Мене Мати«, сверкалъ и таялъ въ огняхъ жемчугъ ризы, лучисто горѣли малиновые альмандины на золотѣ вѣнцовъ. Въ темныхъ стеклахъ оконъ съ улицы молча прижались блинами мутныя, круглыя рожи, прилипли расплющенные носы, все вокругъ куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухомъ у меня, говоря:

— Непремѣнно, непремѣнно...

— Сомлѣлъ, — сказала бабушка и понесла меня къ двери.

Но я не сомлѣлъ, а просто закрылъ глаза, и когда она тащила меня вверхъ по лѣстницѣ, спросилъ ее:

— Что же ты не говорила мнѣ про это...

— А ты — ладно, молчи!...

— Обманщики вы...

Положивъ меня на кровать, она ткнулась головою въ подушку и задрожала вся, заплакала; плечи у нея ходуномъ ходили, захлебываясь, она бормотала:

— А ты поплачь... поплачь...

Мнѣ плакать не хотѣлось. На чердакѣ было сумрачно и холодно, я дрожалъ, кроватъ качалась и скрипѣла, зеленая старуха стояла предъ глазами у меня, я притворился, что уснулъ, и бабушка ушла.

Тонкой струйкой однообразно протекло нѣсколько пустыхъ дней, мать послѣ сговора куда-то уѣхала, въ домѣ было удручающе тихо.

Какъ-то утромъ пришелъ дѣдъ со стамеской въ рукѣ, подошелъ къ окну и сталъ отковырять замазку зимней рамы. Явилась бабушка съ тазомъ воды и тряпками, дѣдъ тихонько спросилъ ее:

— Что, старуха?

— А что?

— Рада, что-ли?

Она отвѣтила такъ же, какъ мнѣ на лѣстницѣ:

— А ты — ладно, молчи!

Простыя слова теперь имѣли особенный смыслъ, за ними пряталось большое, грустное, о чемъ не нужно говорить и что всѣ знаютъ.

Осторожно вынувъ раму, дѣдъ понесъ ее вонъ, бабушка распахнула окно — въ саду кричалъ скворецъ, чирикали воробьи, пьяный запахъ оттаявшей земли налился въ комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побѣлѣли, смотрѣть на нихъ стало холодно. Я слѣзъ на полъ съ постели.

— Босикомъ-то не ходи, — сказала бабушка.

— Пойду въ садъ.

— Не сухо еще тамъ, погодилъ-бы!

Не хотѣлось слушать ее и даже видѣть большихъ было непріятно.

Въ саду уже пробились свѣтло-зеленыя иглы молодой травы, на яблоняхъ набухли и лопались почки, пріятно позеленѣлъ мохъ на крышѣ домика Петровны, всюду было много птицъ, веселый звонъ, свѣжій, пахучій воздухъ пріятно кружилъ голову. Въ ямѣ, гдѣ зарѣзался дядя Петръ, лежалъ спутавшись поломанный снѣгомъ рыжій бурьянъ, — нехорошо смотрѣть на нее, ничего весенняго нѣтъ въ ней, черныя головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мнѣ сердито захотѣлось вырвать, выломать бурьянъ, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное и, устроивъ въ ямѣ чистое жилище себѣ, жить въ ней лѣтомъ одному, безъ большихъ. Я тотчасъ же принялся за дѣло, оно сразу, на долго и хорошо отвело меня отъ всего, что дѣлалось въ домѣ, и хотя было все еще очень обидно, но съ каждымъ днемъ теряло интересъ.

— Ты что это надулъ губы? — спрашивали меня то бабушка, то мать, — было неловко, что они спрашиваютъ такъ, я вѣдь не сердился на нихъ, а просто все въ домѣ стало мнѣ чужимъ. За обѣдомъ, вечернимъ чаемъ и ужиномъ часто сидѣла зеленая старуха, точно гнилой колъ въ старой изгороди. Глаза у ней были пришиты къ лицу невидимыми ниточками, легко выкатываясь изъ костлявыхъ ямъ, они двигались очень ловко, все видя, все замѣчая, поднимаясь къ потолку, когда она говорила о Богѣ, опускаясь на щеки, если рѣчь шла о домашнемъ. Брови у нея были точно изъ отрубей и какія то приклеенныя. Ея голые, широкіе зубы безшумно перекусывали все, что она совала въ ротъ, смѣшно изогнувъ руку, оттопыривъ мизинецъ, около ушей у нея катались костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно-чистой кожѣ. Она вся была такая же чистая, какъ ея сынъ, — до нихъ неловко, нехорошо было притронуться. Въ первые дни она начала было совать свою мертвую руку къ моимъ губамъ, отъ руки пахло желтымъ казанскимъ мыломъ и ладономъ, я отворачивался, убѣгалъ.

Она часто говорила сыну:

— Мальчика непремѣнно надо очень воспитывать, — понимаешь, Женя.

Онъ послушно наклонялъ голову, хмурилъ брови и молчалъ. И всѣ хмурились при этой зеленой.

Я ненавидѣлъ старуху да и сына ея сосредоточенной ненавистью, и много принесло мнѣ побой это тяжелое чувство. Однажды за обѣдомъ она сказала, страшно выкативъ глаза:

— Ахъ, Алешенька, зачѣмъ ты такъ торопишься кушать и такіе большущіе куски! Ты подавишься, милый!

Я вынулъ кусокъ изо рта, снова надѣлъ его на вилку и протянулъ ей:

— Возьмите, коли жалко...

Мать выдернула меня изъ-за стола, я съ позоромъ былъ прогнанъ на чердакъ, — пришла бабушка и хохотала, зажимая себѣ ротъ:

— А ба-атюшки! Ну, и озорникъ же ты, Христосъ съ тобой...

Мнѣ не нравилось, что она зажимаетъ ротъ, я убѣжалъ отъ нея, залѣзъ на крышу дома и долго сидѣлъ тамъ за трубой. Да, мнѣ очень хотѣлось озорничать, говорить всѣмъ злыя слова, и было трудно побороть это желаніе, а пришлось побороть: однажды я намазалъ стулья будущаго вотчима и новой бабушки вишневымъ клеемъ, оба они прилипли; это было очень смѣшно, но когда дѣдъ отколотилъ меня, на чердакъ ко мнѣ пришла мать, привлекла меня къ себѣ, крѣпко сжала колѣнями и сказала:

— Послушай, — зачѣмъ ты злишься? Зналъ бы ты, какое это горе для меня.

Глаза ея налились свѣтлыми слезами, она прижала голову мою къ своей щекѣ, — это было такъ тяжело, что лучше-бы ужъ она ударила меня. Я сказалъ, что никогда не буду обижать Максимовыхъ, никогда, — пусть только она не плачетъ.

— Да, да, — сказала она тихонько, — не нужно озорничать! Вотъ скоро мы обвѣнчаемся, потомъ поѣдемъ въ Москву, а потомъ воротимся и ты будешь жить со мной. Евгеній Васильевичъ очень добрый и умный, тебѣ будетъ хорошо съ нимъ. Ты будешь учиться въ гимназіи, потомъ станешь студентомъ, — вотъ такимъ же, какъ онъ теперь, а потомъ докторомъ. Чѣмъ хочешь, — ученый можетъ быть чѣмъ хочетъ. Ну, иди, гуляй...

Эти «потомъ», положенныя ею одно за другимъ, ка-

зались мнѣ лѣстницею, куда-то глубоко внизъ и прочь отъ нея, въ темноту, въ одиночество, — не обрадовала меня такая лѣстница. Очень хотѣлось сказать матери:

— Не выходи, пожалуйста, замужъ, я самъ буду кормить тебя!

Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковыхъ думъ о ней, но выговорить думы эти я не рѣшался никогда.

Въ саду дѣла мои пошли хорошо: я выполол, вырубилъ косаремъ бурьянъ, обложилъ яму по краямъ, гдѣ земля оползла, обломками кирпичей, устроилъ изъ нихъ широкое сидѣнье, — на немъ можно было даже лежать. Набралъ много цвѣтныхъ стеколъ и осколковъ посуды, вмазалъ ихъ глиной въ щели между кирпичами, — когда въ яму смотрѣло солнце, все это радушно разгоралось, какъ въ церкви.

— Ловко придумалъ! — сказалъ однажды дѣдушка, разглядывая мою работу. — Только бурьянъ тебя забьетъ, корыто ты оставилъ! Дай-ко я перекопаю землю заступомъ, — иди, принеси!

Я принесъ желѣзную лопату, онъ поплевалъ на руки и, покрякивая, сталъ глубоко всаживать ногою заступъ въ жирную землю.

— Отбрасывай коренья. Потомъ я тебѣ насажу тутъ подсолнуховъ, мальвы, — хорошо будетъ! Хорошо...

И вдругъ, согнувшись надъ лопатой, онъ замолчалъ, замеръ; я присмотрѣлся къ нему — изъ его маленькихъ, умныхъ, какъ у собаки, глазъ часто падали на землю мелкія слезы.

— Ты что?

Онъ встряхнулся, вытеръ ладонью лицо, мутно поглядѣлъ на меня.

— Вспотѣлъ я! Гляди-ко — червей сколько!

Потомъ снова сталъ копать землю и вдругъ сказалъ:

— Зря все это настроилъ ты. Зря, братъ. Домъ — отъ я, вѣдь скоро продамъ. Къ осени, навѣрное, продамъ. Деньги нужны, матери въ приданое. Такъ-то. Пускай хоть она хорошо живетъ, Господь съ ней...

Онъ бросилъ лопату и махнувъ рукою ушелъ за баню, въ уголъ сада, гдѣ у него были парники, а я началъ копать землю и тотчасъ же разбилъ себѣ заступомъ палецъ на ногѣ.

Это помѣшало мнѣ проводить мать въ церковь къ вѣнцу, я могъ только выйти за ворота и видѣлъ, какъ она подъ руку съ Максимовымъ, наклоня голову, осторожно ставитъ ноги на кирпичъ тротуара, на зеленыя травы, высунувшіяся изъ щелей его, — точно она шла по остріямъ гвоздей.

Свадьба была тихая, придя изъ церкви невесело пили чай, мать сейчасъ же переодѣлась и ушла къ себѣ въ спальню укладывать сундуки, вотчимъ сѣлъ рядомъ со мною и сказалъ:

— Я обѣщалъ подарить тебѣ краски, да здѣсь въ городѣ нѣтъ хорошихъ, а свои я не могу отдать, ужъ я пришлю тебѣ краски изъ Москвы...

— А что я буду дѣлать съ ними?

— Ты не любишь рисовать?

— Я не умѣю.

— Ну, я тебѣ другое что-нибудь пришлю.

Подошла мать.

— Мы, вѣдь, скоро вернемся, вотъ отецъ сдастъ экзаменъ, кончитъ учиться, мы и назадъ...

Было пріятно, что они разговариваютъ со мною, какъ со взрослымъ, но какъ то странно было слышать, что человѣкъ съ бородой все еще учится. Я спросилъ:

— Ты чему учишься?

— Межевому дѣлу...

Мнѣ было лѣнь спросить, — что это за дѣло? Домъ

наполняла скучная тишина, какой то шерстяной шорохъ, хотѣлось, чтобы скорѣе пришла ночь. Дѣдъ стоялъ прижавшись спиной къ печи и смотрѣлъ въ окно, прищурясь, зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, съ полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердакъ и заперли тамъ.

Мать уѣхала рано утромъ на другой день; она обняла меня на прощаніе, легко приподнявъ съ земли, заглянула въ глаза мнѣ какими-то незнакомыми глазами и сказала, цѣлуя:

— Ну, прощай...

— Скажи ему, чтобы слушался меня, — угрюмо проговорилъ дѣдъ, глядя въ небо, еще розовое.

— Слушайся дѣдушку, — сказала мать, перекрестивъ меня. Я ждалъ, что она скажетъ что-то другое и разсердился на дѣда, — это онъ помѣшалъ ей.

Вотъ они сѣли въ пролетку, мать долго и сердито отцѣпляла подолъ платья, зацѣпившійся за что-то.

— Помоги, али не видишь? — сказалъ мнѣ дѣдъ, — я не помогъ, туго связанный тоскою. Максимовъ терпѣливо уставлялъ въ пролеткѣ свои длинныя ноги въ узкихъ синихъ брюкахъ, бабушка совала въ руки ему какіе то узлы, онъ складывалъ ихъ на колѣни себѣ, поддерживалъ подбородкомъ и пугливо морщилъ блѣдное лицо, растягивая:

— До-остаточно-о...

На другую пролетку усѣлась зеленая старуха со старшимъ сыномъ офицеромъ, она сидѣла, какъ написанная, а онъ чесалъ себѣ бороду ручкой сабли и позѣвывалъ.

— Значитъ, — вы на войну пойдете? — спрашивалъ дѣдъ.

— Обязательно!

— Дѣло доброе. Турокъ надо бить...

Поѣхали. Мать нѣсколько разъ обернулась, взмахивая платкомъ, бабушка, опираясь рукою о стѣну дома, тоже трясла въ воздухѣ рукою, обливаясь слезами, дѣдъ тоже выдавливалъ пальцами слезы изъ глазъ и ворчалъ отрывисто:

— Не будетъ... добра тутъ... не будетъ...

Я сидѣлъ на тумбѣ, глядя, какъ подпрыгиваютъ пролетки — вотъ они повернули за уголъ, и въ груди что-то плотно захлопнулось, закрылось.

Было рано, окна домовъ еще прикрыты ставнями, улица пустынна — никогда я не видалъ ее такой мертво-пустой. Вдали назойливо игралъ пастухъ.

— Пойдемъ чай пить, — сказалъ дѣдъ, взявъ меня за плечо. — Видно, — судьба тебѣ со мной жить: такъ и станешь ты объ меня чиркать, какъ спичка о кирпичъ!

Съ утра до вечера мы съ нимъ молча возились въ саду; онъ копалъ гряды, подвязывалъ малину, снималъ съ яблонь лишаи, давилъ гусеницу, а я все устраивалъ и украшалъ жилище себѣ. Дѣдъ отрубилъ конецъ обгорѣвшаго бревна, воткнулъ въ землю палки, я развѣсилъ на нихъ клѣтки съ птицами, сплелъ изъ сухого бурьяна плотный плетень и сдѣлалъ надъ скамьей навѣсъ отъ солнца и росы, — у меня стало совсѣмъ хорошо.

Дѣдъ говорилъ:

— Это очень полезно, что ты учишься самъ для себя устраивать какъ лучше.

Я очень цѣнилъ его слова. Иногда онъ ложился на сѣдалище, покрытое мною дерномъ, и поучалъ меня не торопясь, какъ бы съ трудомъ вытаскивая слова.

— Теперь ты отъ матери отрѣзанъ ломоть, пойдутъ у нея другія дѣти, будутъ они ей ближе тебя. Бабушка, вотъ, пить начала.

Долго молчитъ, будто прислушиваясь, — снова неохотно роняетъ тяжелыя слова.

— Это она второй разъ запиваетъ, — когда Михайлѣ выпало въ солдаты идти — она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцію. Можетъ онъ въ солдатахъ то другимъ сталъ бы... Эхъ, вы-и... А я скоро помру. Значитъ — останешься ты одинъ, самъ про себя — весь тутъ, своей жизни добытчикъ — понялъ? Ну, вотъ. Учись быть самому себѣ работникомъ, а другимъ — не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а — упрямо! Слушай всѣхъ, а дѣлай какъ тебѣ лучше...

Все лѣто, исключая, конечно, непогожіе дни, я прожилъ въ саду, теплыми ночами даже спалъ тамъ на кошмѣ, подаренной бабушкой, нерѣдко и сама она ночевала въ саду, принесетъ охабку сѣна, разбросаетъ его около моего ложа, ляжетъ и долго разсказываетъ мнѣ о чемъ нибудь, прерывая рѣчь свою неожиданными вставками:

— Гляди — звѣзда упала! Это чья нибудь душенька чистая, встосковалась, мать — землю вспомнила! Значитъ, — сейчасъ гдѣ-то хорошій человѣкъ родился.

Или указывала мнѣ:

— Новая звѣзда взошла, глянь-ко! Экая глазастая. Охъ, ты, небо-небушко, риза Богова свѣтлая...

Дѣдъ ворчалъ:

— Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострѣлъ схватитъ. Воры придутъ, задавятъ...

Бывало, — зайдетъ солнце, прольются въ небесахъ огненныя рѣки и сгорятъ, ниспадетъ на бархатную зелень сада золотисто-красный пепелъ, потомъ все вокругъ ощутимо темнѣетъ, ширится, пухнетъ, облитое теплымъ сумракомъ, опускаются сытые солнцемъ листья, гнутся травы къ землѣ, все становится мягче, пышнѣе, тихонько дышетъ разными запахами, ласковыми, какъ музыка — и музыка плыветъ издали, съ поля, играютъ зорю въ лагеряхъ. Ночь идетъ и съ нею льется въ грудь нѣчто

сильное, освѣжающее, какъ добрая ласка матери, тишина мягко гладитъ сердце теплой, мохнатой рукою и стирается въ памяти все, что нужно забыть, — вся ѣдкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверхъ лицомъ, слѣдя, какъ разгораются звѣзды, безконечно углубляя небо, эта глубина, уходя все выше, открывая новыя звѣзды, легко поднимаетъ тебя съ земли и — такъ странно — не то вся земля умалилась до тебя, не то самъ ты чудесно разроссся, развернулся и плавишься, сливаясь со всѣмъ, что вокругъ тебя. Становится все темнѣе, тише, но всюду невидимо протянуты чуткія струны, и каждый звукъ — запоетъ-ли птица во снѣ, пробѣжитъ-ли ежъ или гдѣ-то тихо вспыхнетъ человѣчій голосъ — все особенно, не по дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучалъ женскій смѣхъ, гремитъ сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака, — все это не нужно, это падаютъ послѣдніе листья отцвѣтшаго дня.

Бывали ночи, когда вдругъ въ полѣ, на улицѣ вскипалъ пьяный крикъ, кто-то бѣжалъ, тяжко топая ногами — это было привычно и не возбуждало вниманія.

Бабушка не спитъ долго, лежитъ, закинувъ руки подъ голову, и въ тихомъ возбужденіи разсказываетъ что нибудь, видимо нисколько не заботясь о томъ, слушаю я ее или нѣтъ. И всегда она умѣла выбрать сказку, которая дѣлала ночь еще значительнѣй, еще краше.

Подъ ея мѣрную рѣчь я незамѣтно засыпалъ и просыпался вмѣстѣ съ птицами; прямо въ лицо смотритъ солнце, нагрѣваясь, тихо струится утренній воздухъ, листья яблонь стряхиваютъ росу, влажная зелень травы блеститъ все ярче, пріобрѣтая хрустальную прозрачность, тонкій парокъ вздымается надъ нею. Въ сиреневомъ небѣ растетъ вѣеръ солнечныхъ лучей, небо голубѣетъ. Невидимо высоко звенитъ жаворонокъ, и всѣ цвѣта, звуки

росою просачиваются въ грудь, вызывая спокойную радость, будя желаніе скорѣе встать, что-то дѣлать и жить въ дружбѣ со всѣмъ живымъ вокругъ.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этимъ лѣтомъ во мнѣ сложилось и окрѣпло чувство увѣренности въ своихъ силахъ. Я одичалъ, сталъ нелюдимъ, слышалъ крики дѣтей Овсянникова, но меня не тянуло къ нимъ, а когда являлись братья, это ни мало не радовало меня, только возбуждало тревогу, какъ-бы они не разрушили мои постройки въ саду, — мое первое самостоятельное дѣло.

Перестали занимать меня и рѣчи дѣда, все болѣе сухія, ворчливыя, охающія. Онъ началъ часто ссориться съ бабушкой, выгонялъ ее изъ дома, она уходила, то къ дядѣ Якову, то — къ Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нѣскольку дней, дѣдъ самъ стряпалъ, обжигалъ себѣ руки, вылъ, ругался, колотилъ посуду и замѣтно становился жаденъ.

Иногда, приходя ко мнѣ въ шалашъ, онъ удобно усаживался на дернъ, слѣдилъ за мною долго, молча и неожиданно спрашивалъ:

— Что молчишь?

— Такъ. А что?

Онъ начиналъ поучать:

— Мы — не баре. Учить насъ некому. Намъ надо все самимъ понимать. Для другихъ, вонъ, книги написаны, училища выстроены, а для насъ ничего не поспѣло. Все самъ возьми...

И задумывался, засыхалъ, неподвижный, нѣмой, почти — жуткій.

Осенью онъ продалъ домъ, а не задолго до продажи, вдругъ, за утреннимъ чаемъ, угрюмо и рѣшительно объявилъ бабушкѣ:

— Ну, мать, кормилъ я тебя, кормилъ — будетъ! Добывай хлѣбъ себѣ сама.

Бабушка отнеслась къ этимъ словамъ совершенно спокойно, точно давно знала, что они будутъ сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый носъ и сказала:

— Ну, что жъ! Коли — такъ, такъ — эдакъ...

Дѣдъ снялъ двѣ темныя комнатки въ подвалѣ стараго дома, въ тупикѣ, подъ горкой. Когда переѣзжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинномъ оборѣ, закинула его въ подпечекъ и, присѣвъ на корточки, начала вызывать домового:

— Домовикъ-родовикъ, — вотъ тебѣ сани, поѣзжай-ко съ нами на новое мѣсто, на иное счастье...

Дѣдъ заглянулъ въ окно со двора и крикнулъ:

— Я-те повезу, еретица! Попробуй, осрами-ка меня...

— Ой, гляди, отецъ, худо будетъ, — серьезно предупредила она, но дѣдъ освирѣпѣлъ и запретилъ ей перевозить домового.

Мебель и разныя вещи онъ дня три распродавалъ старьевщикамъ-татарамъ, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрѣла изъ окна и то плакала, то смѣялась, не громко покрикивая:

— Тащи-и! Ломай...

Я тоже готовъ былъ плакать, жалѣя мой садъ, шалашъ.

Переѣзжали на двухъ телѣгахъ, и ту, на которой сидѣлъ я, среди разнаго скарба, страшно трясло, какъ будто затѣмъ, чтобъ сбросить меня долой.

И въ этомъ ощущеніи упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожилъ года два, вплоть до смерти матери.

Мать явилась вскорѣ послѣ того, какъ дѣдъ поселился въ подвалѣ, блѣдная, похудѣвшая, съ огромными глазами и горячимъ, удивленнымъ блескомъ въ нихъ. Она все какъ-то присматривалась, точно впервые видѣла отца, мать и меня, присматривалась и молчала, а вотчимъ

неустанно расхаживалъ по комнатѣ, насвистывая тихонько, покашливая, заложивъ руки за спину, играя пальцами.

— Господи, какъ ты ужасно растешь! — сказала мнѣ мать, сжавъ горячими ладонями щеки мои. Одѣта она была не красиво, — въ широкое, рыжее платье, вздувшееся на животѣ.

Вотчимъ протянулъ мнѣ руку.

— Здравствуй, братъ! Ну, какъ ты, а?

Понюхалъ воздухъ и сказалъ:

— А, знаете, — у васъ очень сыро!

Оба они какъ будто долго бѣжали, утомились, все на нихъ смялось, вытерлось и ничего имъ не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.

Скучно пили чай, дѣдушка спрашивалъ, глядя, какъ дождь моетъ стекло окна:

— Стало быть — все сгорѣло?

— Все, — рѣшительно подтвердилъ вотчимъ. — Мы сами едва выскочили...

— Такъ. Огонь не шутитъ.

Прижавшись къ плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей, — бабушка щурила глаза, точно въ нихъ свѣтомъ било. Становилось все скучнѣе.

Вдругъ дѣдъ сказалъ ехидно и спокойно, очень громко:

— А до меня слухъ дошелъ, Евгеній Васильевъ, сударь, что пожара-то не было, а просто ты въ карты проигралъ все...

Стало тихо, какъ въ погребѣ, фыркалъ самоваръ, хлесталъ дождь по стекламъ, потомъ мать выговорила:

— Папаша...

— Что-о, папаша-а? — оглушительно закричалъ дѣдъ. — Что еще будетъ? Не говорилъ я тебѣ: не ходи тридцать за двадцать? Вотъ тебѣ, — вотъ онъ — тонкій! Дворянка, а? Что, дочка?

Закричали всѣ четверо, громче всѣхъ вотчимъ. Я ушелъ въ сѣни, сѣлъ тамъ на дрова и окоченѣлъ въ изумленіи: мать точно подмѣнили, она была совсѣмъ не та, не прежняя. Въ комнатѣ это было меньше замѣтно, но здѣсь, въ сумракѣ, ясно вспомнилось, какая она была раньше.

Потомъ, какъ-то не памятно, я очутился въ Сормовѣ, въ домѣ, гдѣ все было новое, стѣны безъ обоевъ, съ пенькой въ пазахъ между бревнами и со множествомъ таракановъ въ пенькѣ. Мать и вотчимъ жили въ двухъ комнатахъ на улицу окнами, а я съ бабушкой — въ кухнѣ, съ однимъ окномъ на крышу. Изъ-за крышъ черными кукишами торчали въ небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимній вѣтеръ раздувалъ дымъ по всему селу, всегда у насъ, въ холодныхъ комнатахъ стоялъ жирный запахъ гари. Рано утромъ волкомъ вылъ гудокъ:

— Хвоу, оу, оу-у…

Если встать на лавку, то въ верхнія стекла окна, черезъ крыши, видны освѣщенныя фонарями ворота завода, раскрытыя, какъ беззубый черный ротъ стараго нищаго, — въ него густо лѣзетъ толпа маленькихъ людей. Въ полдень снова гудокъ, отваливались черныя губы воротъ, открывая глубокую дыру, заводъ тошнило пережеванными людями, чернымъ потокомъ они изливались на улицу, бѣлый, мохнатый вѣтеръ леталъ вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домамъ. Небо было видимо надъ селомъ очень рѣдко, изо дня въ день надъ крышами домовъ, надъ сугробами снѣга, посоленными копотью, висѣла другая крыша, сѣрая, плоская, она притискивала воображеніе и ослѣпляла глаза своимъ тоскливымъ одноцвѣтомъ.

Вечерами надъ заводомъ колебалось мутно-красное зарево, освѣщая концы трубъ, и было похоже, что трубы не отъ земли къ небу поднялись, а опускаются къ землѣ изъ этого дымнаго облака, опускаются, дышатъ крас-

нымъ и воютъ, гудятъ. Смотрѣть на все это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку — стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была въ работѣ съ утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надѣвала короткую ватную кофту и, высоко подоткнувъ юбку, отправлялась въ городъ:

— Поглядѣть, какъ тамъ старикъ живетъ...

— Возьми меня!

— Замерзнешь, гляди, какъ вьюжно!

И уходила она за семь верстъ, по дорогѣ, затерянной въ снѣжныхъ поляхъ. Мать, желтая, беременная, зябко куталась въ сѣрую, рваную шаль съ бахромой. Ненавидѣлъ я эту шаль, искажавшую большое, стройное тѣло, ненавидѣлъ и обрывалъ хвостики бахромы, ненавидѣлъ домъ, заводъ, село. Мать ходила въ растоптанныхъ валенкахъ, кашляла, встряхивая безобразно большой животъ, ея сѣро-синіе глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голыхъ стѣнахъ, точно приклеивались къ нимъ. Иногда она цѣлый часъ смотрѣла въ окно на улицу: улица была похожа на челюсть, часть зубовъ отъ старости почернѣла, покривилась, часть ихъ уже вывалилась и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большіе.

— Зачѣмъ мы тутъ живемъ? — спрашивалъ я. Она отвѣчала:

— Ахъ, молчи, ты...

Она мало говорила со мною, все только приказывала:

— Сходи, подай, принеси...

На улицу меня пускали рѣдко, каждый разъ я возвращался домой избитый мальчишками, — драка была любимымъ и единственнымъ наслажденіемъ моимъ, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнемъ,

но наказаніе еще болѣе раздражало, и въ слѣдующій разъ я бился съ ребятишками яростнѣй, — а мать наказывала меня сильнѣе. Какъ то разъ я предупредилъ ее, что если она не перестанетъ бить, я укушу ей руку, убѣгу въ поле и тамъ замерзну, — она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнатѣ и сказала, задыхаясь отъ усталости:

— Звѣренышъ!

Живая, трепетная радуга тѣхъ чувствъ, которыя именуются любовью, выцвѣтала въ душѣ моей, все чаще вспыхивали угарные синіе огоньки злости на все, тлѣло въ сердцѣ чувство тяжкаго недовольства, сознаніе одиночества въ этой сѣрой, безжизненной чепухѣ.

Вотчимъ былъ строгъ со мной, не разговорчивъ съ матерью, онъ все посвистывалъ, кашлялъ, а послѣ обѣда становился передъ зеркаломъ и заботливо, долго ковырялъ лучинкой въ неровныхъ зубахъ. Все чаще онъ ссорился съ матерью, сердито говорилъ ей «вы» — это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссоръ онъ всегда плотно прикрывалъ дверь въ кухню, видимо, не желая, чтобъ я слышалъ его слова, но я все-таки вслушивался въ звуки его глуховатаго баса.

Однажды онъ крикнулъ, топнувъ ногою:

— Изъ-за вашего дурацкаго брюха, я никого не могу пригласить въ гости къ себѣ, корова вы эдакая!

Въ изумленіи, въ бѣшеной обидѣ, я такъ привскочилъ на полатяхъ, что ударился головою о потолокъ и сильно прикусилъ до крови языкъ себѣ.

По субботамъ къ вотчиму десятками являлись рабочіе продавать записки на провизію, которую они должны были брать въ заводской лавкѣ, этими записками имъ платили вмѣсто денегъ, а вотчимъ скупалъ ихъ за полцѣны. Онъ принималъ рабочихъ въ кухнѣ, сидя за столомъ, важный, хмурый, бралъ записку и говорилъ:

— Полтора рубля.

— Евгеній Васильевъ, побойся Бога...

— Полтора рубля.

Эта нелѣпая, темная жизнь не долго продолжалась; передъ тѣмъ, какъ матери родить, меня отвели къ дѣду. Онъ жилъ уже въ Кунавинѣ, занимая тѣсную комнату съ русской печью и двумя окнами на дворъ, въ двухэтажномъ домѣ на песчаной улицѣ, опускавшейся подъ горку, къ оградѣ кладбища Напольной церкви.

— Что-о? — сказалъ онъ, встрѣтивъ меня, и засмѣялся, подвизгивая. — Говорилось: нѣтъ милѣй дружка, какъ родимая матушка, а нынче, видно, скажемъ, не родимая матушка, а старый чортъ дѣдушка! Эхъ, вы-и...

Не успѣлъ я осмотрѣться на новомъ мѣстѣ, пріѣхали бабушка и мать съ ребенкомъ, вотчима прогнали съ завода за то, что онъ обиралъ рабочихъ, но онъ съѣздилъ куда-то и его тотчасъ взяли на вокзалъ кассиромъ по продажѣ билетовъ.

Прошло много пустого времени и меня снова переселили къ матери въ подвальный этажъ каменнаго дома, мать тотчасъ же сунула меня въ школу; — съ перваго же дня школа вызвала во мнѣ отвращеніе.

Я пришелъ туда въ материныхъ башмакахъ, въ пальтишкѣ, перешитомъ изъ бабушкиной кофты, въ желтой рубахѣ и штанахъ «на выпускъ», все это сразу было осмѣяно, за желтую рубаху я получилъ прозвище «бубноваго туза». Съ мальчиками я скоро поладилъ, но учитель и попъ не взлюбили меня.

Учитель былъ желтый, лысый, у него постоянно текла кровь изъ носа, онъ являлся въ классъ, заткнувъ ноздри ватой, садился за столъ, гнусаво спрашивалъ уроки и вдругъ, замолчавъ на полусловѣ, вытаскивалъ вату изъ ноздрей, разглядывалъ ее, качая головою. Лицо у него было плоское, мѣдное, окисшее, въ морщинахъ лежала какая то празелень, особенно уродовали это лицо

совершенно лишніе на немъ оловянные глаза, такъ непріятно прилипавшіе къ моему лицу, что всегда хотѣлось вытереть щеки ладонью.

Нѣсколько дней я сидѣлъ въ первомъ отдѣленіи, на передней партѣ, почти вплоть къ столу учителя, — это было нестерпимо, казалось, онъ никого не видитъ, кромѣ меня, онъ гнусилъ все время:

— Пѣско-овъ, перемѣни рубаху-у! Пѣско-овъ, не вози ногами! Пѣсковъ, опять у тебя съ обуви луза натекла-а!

Я платилъ ему за это дикимъ озорствомъ: однажды досталъ половинку замороженнаго арбуза, выдолбилъ ее и привязалъ на ниткѣ къ блоку двери въ полутемныхъ сѣняхъ. Когда дверь открылась — арбузъ взъѣхалъ вверхъ, а когда учитель притворилъ дверь — арбузъ шапкой сѣлъ ему прямо на лысину. Сторожъ отвелъ меня съ запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой разъ я насыпалъ въ ящикъ его стола нюхательнаго табаку, онъ такъ расчихался, что ушелъ изъ класса, прислав вмѣсто себя зятя своего, офицера, который заставилъ весь классъ пѣть «Боже царя храни» и «Ахъ, ты, воля, моя воля». Тѣхъ, кто пѣлъ не вѣрно, онъ щелкалъ линейкой по головамъ, какъ то особенно звучно и смѣшно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый попъ, не взлюбилъ меня за то, что у меня не было «Священной исторіи ветхаго и новаго завѣта» и за то, что я передразнивалъ его манеру говорить.

Являясь въ классъ, онъ первымъ дѣломъ спрашивалъ меня:

— Пѣшко́въ, книгу принесъ или нѣтъ? Да. Книгу?

Я отвѣчалъ:

— Нѣтъ. Не принесъ. Да.

— Что — да?

— Нѣтъ.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить не намѣренъ. Да. Не намѣренъ.

Это меня не очень огорчало, я уходилъ и до конца уроковъ шатался по грязнымъ улицамъ слободы, присматриваясь къ ея шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женскіе глаза и маленькія руки, тоже какія то ласковыя ко всему, что попадало въ нихъ. Каждую вещь — книгу, линейку, ручку пера — онъ бралъ удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, попъ очень любилъ ее и боялся повредить ей неосторожнымъ прикосновеніемъ. Съ ребятишками онъ былъ не такъ ласковъ, но они все-таки любили его.

Не смотря на то, что я учился сносно, мнѣ скоро было сказано, что меня выгонятъ изъ школы за недостойное поведеніе. Я пріунылъ, — это грозило мнѣ великими непріятностями, мать, становясь все болѣе раздражительной, все чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь, — въ школу неожиданно пріѣхалъ епископъ Хрисанфъ*), маленькій, похожій на колдуна и, помнится, горбатый.

Когда онъ, маленькій, въ широкой черной одеждѣ и смѣшномъ ведеркѣ на головѣ, сѣлъ за столъ, высвободилъ руки изъ рукавовъ и сказалъ:

— Ну, давайте, бесѣдовать, дѣти мои! — въ классѣ сразу стало тепло, весело, повѣяло незнакомо пріятнымъ.

---

*) Авторъ извѣстнаго трехътомнаго труда — «Религіи древняго міра», статьи — «Египетскій метампсихозъ», а также публицистической статьи — «О бракѣ и женщинѣ». Эта статья, въ юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатлѣніе. Кажется, я не вѣрно привелъ титулъ ея. Напечатана въ какомъ-то богословскомъ журналѣ семидесятыхъ годовъ.

Вызвавъ послѣ многихъ меня къ столу, онъ спросилъ серьезно:

— Тебѣ — который годъ? Только-о? Какой ты, братъ, длинный, а? Подъ дождями часто стоялъ, а?

Положивъ на столъ сухонькую руку, съ большими, острыми ногтями, забравъ въ пальцы не пышную бородку, онъ уставился въ лицо мнѣ добрыми глазами, предложивъ:

— Ну-ко, разскажи мнѣ изъ священной исторіи, что тебѣ нравится?

Когда я сказалъ, что у меня нѣтъ книги и я не учу священную исторію, онъ поправилъ клобукъ и спросилъ:

— Какъ же это? Вѣдь это надобно учить! А можетъ, что нибудь знаешь, слыхалъ? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вотъ видишь! Да еще и житія? Стихами? Да ты у меня знающій...

Явился нашъ попъ, красный, запыхавшійся, епископъ благословилъ его, но когда попъ сталъ говорить про меня, онъ поднялъ руку, сказавъ:

— Позвольте, минутку... Ну-ко, разскажи про Алексѣя, человѣка Божія?...

— Прехорошіе стихи, братъ, а? — сказалъ онъ, когда я пріостановился, забывъ какой то стихъ. — А еще что нибудь?... Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видѣлъ, что онъ дѣйствительно слушаетъ, и ему нравятся стихи; онъ спрашивалъ меня долго, потомъ вдругъ остановилъ, освѣдомляясь, быстро:

— По псалтирю учился? Кто училъ? Добрый дѣдушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказалъ — да. Учитель съ попомъ многословно подтвердили мое сознаніе, онъ слушалъ ихъ, опустивъ глаза, потомъ сказалъ, вздохнувъ:

— Вотъ что про тебя говорятъ, — слыхалъ? Ну-ко, подойди!

Положивъ на голову мнѣ руку, отъ которой исходилъ запахъ кипарисоваго дерева, онъ спросилъ:

— Чего же это ты озорничаешь?

— Скушно очень учиться.

— Скучно? Это, братъ, не вѣрно, что-то. Было-бы тебѣ скучно учиться — учился бы ты плохо, а вотъ учителя свидѣтельствуютъ, что хорошо ты учишься. Значитъ, есть что то другое.

Вынувъ маленькую книжку изъ-за пазухи, онъ записалъ:

— Пѣшко́въ, Алексѣй. Такъ. А ты все-таки сдерживался бы, братъ, не озорничалъ бы много-то! — Немножко — можно, а ужъ много-то досадно людямъ бываетъ! Такъ-ли я говорю, дѣти?

Множество голосовъ весело отвѣтили:

— Такъ.

— Вы сами-то вѣдь не много озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

— Нѣтъ. Тоже много! Много!

Епископъ отклонился на спинку стула, прижалъ меня къ себѣ и удивленно сказалъ, такъ, что всѣ — даже учитель съ попомъ — засмѣялись:

— Экое дѣло, братцы мои, — вѣдь и я тоже въ ваши-то годы великимъ озорникомъ былъ! Отчего-бы это, братцы?

Дѣти смѣялись, онъ разспрашивалъ ихъ, ловко путая всѣхъ, заставляя возражать другъ другу, и все усугублялъ веселость. Наконецъ всталъ и сказалъ:

— Хорошо съ вами, озорники, да пора ѣхать мнѣ!

Поднялъ руку, смахнувъ рукавъ къ плечу и крестя всѣхъ широкими взмахами, благословилъ:

— Во имя Отца и Сына и святаго Духа, благословляю васъ на добрые труды! Прощайте.

Всѣ закричали:

— Прощайте, владыко! Опять пріѣзжайте.

Кивая клобукомъ, онъ говорилъ:

— Я — прїѣду, прїѣду! Я вамъ книжекъ привезу!

И сказалъ учителю, выплывая изъ класса:

— Отпустите-ка ихъ домой!

Онъ вывелъ меня за руку въ сѣни и тамъ сказалъ, тихонько наклонясь ко мнѣ:

— Такъ ты — сдерживайся, ладно? Я вѣдь понимаю, зачѣмъ ты озорничаешь! Ну, прощай, братъ!

Я былъ очень взволнованъ, какое-то особенное чувство кипѣло въ груди, и даже когда учитель, распустивъ классъ, оставилъ меня и сталъ говорить, что теперь я долженъ держаться тише воды, ниже травы, — я выслушалъ его внимательно, охотно.

Попъ, надѣвая шубу, ласково гудѣлъ:

— Отнынѣ ты на моихъ урокахъ долженъ присутствовать! Да. Долженъ. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дѣла мои въ школѣ, — дома разыгралась скверная исторія: я укралъ у матери рубль. Это было преступленіемъ безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія: однажды вечеромъ мать ушла куда-то, оставивъ меня домовничать съ ребенкомъ; скучая, я развернулъ одну изъ книгъ вотчима — «Записки врача» Дюма-отца, и между страницъ увидалъ два билета — въ десять рублей и въ рубль. Книга была непонятна, я закрылъ ее, и вдругъ сообразилъ, что за рубль можно купить не только «Священную исторію» но, навѣрное, и книгу о Робинзонѣ. Что такая книга существуетъ, я узналъ не задолго передъ этимъ въ школѣ: въ морозный день, во время перемѣны, я разсказывалъ мальчикамъ сказку, вдругъ одинъ изъ нихъ презрительно замѣтилъ:

— Сказки — чушь, а вотъ — Робинзонъ, это настоящая исторія!

Нашлось еще нѣсколько мальчиковъ, читавшихъ Робинзона, всѣ хвалили эту книгу, я былъ обиженъ, что

бабушкина сказка не понравилась, и тогда же рѣшилъ прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о немъ — это чушь!

На другой день я принесъ въ школу «Священную исторію» и два растрепанныхъ томика сказокъ Андерсена, три фунта бѣлаго хлѣба и фунтъ колбасы. Въ темной, маленькой лавочкѣ у ограды Владимирской церкви былъ и Робинзонъ, тощая книжонка въ желтой обложкѣ, и на первомъ листѣ изображенъ бородатый человѣкъ въ мѣховомъ колпакѣ, въ звѣриной шкурѣ на плечахъ, — это мнѣ не понравилось, а сказки даже и по внѣшности были милыя, не смотря на то, что растрепаны.

Во время большой перемѣны, я раздѣлилъ съ мальчиками хлѣбъ и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всѣхъ за сердце.

«Въ Китаѣ всѣ жители — китайцы и самъ императоръ — китаецъ», — помню, какъ пріятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и еще чѣмъ-то удивительно хорошимъ.

Мнѣ не удалось дочитать «Соловья» въ школѣ — не хватило времени, а когда я пришелъ домой, мать, стоявшая у шестка со сковородникомъ въ рукахъ, поджаривая яичницу, спросила меня страннымъ, погашеннымъ голосомъ:

— Ты взялъ рубль?

— Взялъ; вотъ — книги...

Сковородникомъ она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоевъ.

Нѣсколько дней я не ходилъ въ школу, а за это время вотчимъ, должно быть, разсказалъ о подвигѣ моемъ сослуживцамъ, тѣ — своимъ дѣтямъ, одинъ изъ нихъ принесъ эту исторію въ школу, и когда я пришелъ учиться, меня встрѣтили новой кличкой — воръ. Коротко и ясно,

но — неправильно: вѣдь я не скрылъ, что рубль взятъ мною. Попытался объяснить это — мнѣ не повѣрили, тогда я ушелъ домой и сказалъ матери, что въ школу не пойду больше.

Сидя у окна снова беременная, сѣрая, съ безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрѣла на меня, открывъ ротъ, какъ рыба.

— Ты — врешь, — тихо сказала она. — Никто не можетъ знать, что ты взялъ рубль.

— Поди, спроси.

— Ты самъ проболтался. Ну, скажи — самъ? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принесъ это въ школу!

Я назвалъ ученика. Лицо ея жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушелъ въ кухню, легъ на свою постель, устроенную за печью на ящикахъ, лежалъ и слушалъ, какъ въ комнатѣ тихонько воетъ мать.

— Боже мой, Боже мой...

Терпѣнія не стало лежать въ противномъ запахѣ нагрѣтыхъ, сальныхъ тряпокъ, я всталъ, пошелъ на дворъ, но мать крикнула:

— Куда ты? Куда? Иди ко мнѣ!...

Потомъ мы сидѣли на полу, Саша лежалъ въ колѣняхъ матери, хваталъ пуговицы ея платья, кланялся и говорилъ:

— Бувуга, — что означало: пуговка.

Я сидѣлъ, прижавшись къ боку матери, она говорила, обнявъ меня:

— Мы — бѣдные, у насъ каждая копѣйка, каждая копѣйка...

И все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.

— Экая дрянь... дрянь! — вдругъ сказала она слова, которыя я уже слышалъ отъ нея однажды.

Саша повторилъ:

— Дянь!

Странный это былъ мальчикъ: неуклюжій, большеголовый, онъ смотрѣлъ на все вокругъ прекрасными синими глазами, съ тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить онъ началъ необычно рано, никогда не плакалъ, живя въ непрерывномъ состояніи тихаго веселья. Былъ слабъ, едва ползалъ и очень радовался, когда видѣлъ меня, просился на руки ко мнѣ, любилъ мять уши мои маленькими мягкими пальцами, отъ которыхъ почему-то пахло фіалкой. Онъ умеръ неожиданно, не хворая, еще утромъ былъ тихо веселъ, какъ всегда, а вечеромъ, во время благовѣста ко всенощной, уже лежалъ на столѣ. Это случилось вскорѣ послѣ рожденія второго ребенка, Николая.

Мать сдѣлала, что обѣщала; въ школѣ я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило къ дѣду.

Однажды, во время вечерняго чая, войдя со двора въ кухню, я услыхалъ надорванный крикъ матери:

— Евгеній, я тебя прошу, прошу...

— Глу-по-сти! — сказалъ вотчимъ.

— Но вѣдь я знаю, — ты къ ней идешь!

— Н-ну?

Нѣсколько секундъ оба молчали, мать закашлялась, говоря:

— Какая ты злая дрянь...

Я слышалъ, какъ онъ ударилъ ее, бросился въ комнату и увидалъ, что мать, упавъ на колѣни, оперлась спиною и локтями о стулъ, выгнувъ грудь, закинувъ голову, хрипя и страшно блестя глазами, а онъ, чисто одѣтый, въ новомъ мундирѣ, бьетъ ее въ грудь длинной своей ногою. Я схватилъ со стола ножъ съ костяной ручкой въ серебрѣ, — имъ рѣзали хлѣбъ, это была единственная вещь, оставшаяся у матери послѣ моего отца, — схватилъ и со всею силою ударилъ вотчима въ бокъ.

По счастью, мать успѣла оттолкнуть Максимова, ножъ проѣхалъ по боку, широко распоровъ мундиръ и только оцарапавъ кожу. Вотчимъ, охнувъ, бросился вонъ изъ комнаты, держась за бокъ, а мать схватила меня, приподняла и съ ревомъ бросила на полъ. Меня отнялъ вотчимъ, вернувшись со двора.

Поздно вечеромъ, когда онъ все-таки ушелъ изъ дома, мать пришла ко мнѣ за печку, осторожно обнимала, цѣловала меня и плакала:

— Прости, я виновата! Ахъ, милый, какъ ты могъ? Ножомъ?

Я совершенно искренно и вполнѣ понимая, что говорю, сказалъ ей, что зарѣжу вотчима и самъ тоже зарѣжусь. Я думаю, что сдѣлалъ бы это, во всякомъ случаѣ попробовалъ бы. Даже сейчасъ я вижу эту подлую, длинную ногу, съ яркимъ кантомъ вдоль штанины, вижу, какъ она раскачивается въ воздухѣ и бьетъ носкомъ въ грудь женщины. Много лѣтъ спустя этотъ несчастный Максимовъ умиралъ на моихъ глазахъ въ больницѣ, будучи тогда странно близокъ мнѣ, я плакалъ, видя какъ помутнѣли и угасаютъ его красивые, плутающіе глаза, но даже и въ этотъ тяжкій часъ я, съ великой тоскою въ душѣ, не могъ забыть, какъ онъ билъ ногою мою мать.

Вспоминая эти свинцовыя мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоитъ-ли говорить объ этомъ? И, съ обновленной увѣренностью, отвѣчаю себѣ — стоитъ, ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы съ корнемъ же и выдрать ее изъ памяти, изъ души человѣка, изъ всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая болѣе положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давятъ насъ, до смерти расплющивая

множество прекрасныхъ душъ, — русскій человѣкъ все-таки настолько еще здоровъ и молодъ душою, что преодолѣваетъ и преодолѣетъ ихъ.

Не только тѣмъ изумительна жизнь наша, что въ ней такъ плодовитъ и жиренъ пластъ всякой скотской дряни, но тѣмъ, что сквозь этотъ пластъ все-таки побѣдно проростаетъ яркое, здоровое и творческое, растетъ доброе — человѣчье, возбуждая несокрушимую надежду на возрожденіе наше къ жизни свѣтлой, человѣческой.

XIII.

Снова я у дѣда.

— Что, разбойникъ? — встрѣтилъ онъ меня, стуча рукою по столу. — Ну, теперь ужъ я тебя кормить не стану, пускай, вонъ, бабушка кормитъ!

— И буду, — сказала бабушка. — Эка задача, подумаешь!

— Вотъ и корми, — крикнулъ дѣдъ, но тотчасъ успокоился, объяснивъ мнѣ:

— Мы съ ней совсѣмъ раздѣлились, у насъ теперь все порознь...

Бабушка, сидя подъ окномъ, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотымъ ежомъ блестѣла на вешнемъ солнцѣ подушка, густо усѣянная мѣдными булавками. И сама бабушка, точно изъ мѣди лита — неизмѣнна! А дѣдъ еще болѣе ссохся, сморщился, его рыжіе волосы посѣрѣли, спокойная важность движеній смѣнилась горячей суетливостью, зеленые глаза потускнѣли, смотрятъ подозрительно. Посмѣиваясь, бабушка разсказала мнѣ о раздѣлѣ имущества между ею и дѣдомъ: онъ отдалъ ей всѣ горшки, плошки, всю посуду и сказалъ:

— Это — твое, а больше ничего съ меня не спрашивай.

Затѣмъ отобралъ у нея всѣ старинныя платья, вещи, лисій салопъ, продалъ все за семьсотъ рублей, а деньги отдалъ въ ростъ подъ проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Онъ окончательно заболѣлъ ску-

постью и потерялъ стыдъ: сталъ ходить по старымъ знакомымъ, бывшимъ сослуживцамъ своимъ въ ремесленной управѣ, по богатымъ купцамъ и, жалуясь, что разоренъ дѣтьми, выпрашивалъ у нихъ денегъ на бѣдность. Онъ пользовался уваженіемъ, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетомъ подъ носомъ бабушки, дѣдъ хвастался и дразнилъ ее, какъ ребенокъ:

— Видала, дура? Тебѣ сотой доли этого не дадутъ!

Собранныя деньги онъ отдавалъ въ ростъ новому своему пріятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному въ слободкѣ Хлыстомъ, и его сестрѣ — лавочницѣ, дородной, краснощекой бабѣ, съ карими глазами, томной и сладкой, какъ патока.

Все въ домѣ строго дѣлилось: одинъ день обѣдъ готовила бабушка изъ провизіи, купленной на ея деньги, на другой день провизію и хлѣбъ дѣдъ покупалъ, и всегда въ его дни обѣды бывали хуже: бабушка покупала хорошее мясо, а онъ — требуху, печенку, легкія, сычугъ. Чай и сахаръ хранился у каждаго отдѣльно, не заваривали чай въ одномъ чайникѣ, и дѣдъ тревожно говорилъ:

— Постой, погоди, — ты сколько положила?

Высыплетъ чаинки на ладонь себѣ и, аккуратно пересчитавъ ихъ, скажетъ:

— У тебя чай-отъ мельче моего, значитъ — я долженъ положить меньше, мой крупнѣе, навáристѣе.

Онъ очень слѣдилъ, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себѣ одной крѣпости и чтобъ она выпивала одинаковое съ нимъ количество чашекъ.

— По послѣдней, что-ли? — спрашивала она, передъ тѣмъ, какъ слить весь чай.

Дѣдъ заглядывалъ въ чайникъ и говорилъ:

— Ну, ужъ — по послѣдней!

Даже масло для лампадки предъ образомъ каждый

покупалъ свое, — это послѣ полусотни лѣтъ совмѣстнаго труда.

Мнѣ было и смѣшно, и противно видѣть всѣ эти дѣдовы фокусы, а бабушкѣ — только смѣшно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Старъ-старичекъ, вотъ и дуритъ! Ему вѣдь восемь десятковъ, — отшагай-ка столько-то! Пускай дуритъ, кому горе? А я себѣ да тебѣ — заработаю кусокъ, небойсь!

Я тоже началъ зарабатывать деньги: по праздникамъ, рано утромъ, бралъ мѣшокъ и отправлялся по дворамъ, по улицамъ собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пудъ тряпокъ и бумаги ветошники покупали по двугривенному, желѣзо — тоже, пудъ костей по гривеннику, по восемь копѣекъ. Занимался я этимъ дѣломъ и въ будни послѣ школы, продавая каждую субботу разныхъ товаровъ копѣекъ на тридцать, на полтинникъ, а при удачѣ и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала ихъ въ карманъ юбки и похваливала меня, опустивъ глаза:

— Вотъ и спасибо-те, голуба душа! Мы съ тобой прокормимся, — мы? Велико дѣло!

Однажды я подсмотрѣлъ, какъ она, держа на ладони мои пятаки, глядѣла на нихъ и молча плакала, одна мутная слеза висѣла у нея на носу, ноздреватомъ, какъ пемза.

Болѣе доходной статьей, чѣмъ ветошничество, было воровство дровъ и теса въ лѣсныхъ складахъ по берегу Оки или на Пескахъ, — островъ, гдѣ во время ярмарки торгуютъ желѣзомъ изъ наскоро сбитыхъ балагановъ. Послѣ ярмарки балаганы разбираютъ, а жерди, тесъ — складываютъ въ штабеля, и они лежатъ тамъ, на Пескахъ, почти вплоть до весенняго половодья. За хорошую тесину домовладѣльцы-мѣщане давали по гривеннику, въ день можно было стащить штуки двѣ. Но для

удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя ихъ прятаться.

Подобралась дружная ватага: десятилѣтній сынъ нищей мордовки Санька Вяхирь, мальчикъ милый, нѣжный и всегда спокойно веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, съ огромными черными глазами — онъ, впослѣдствіи, тринадцати лѣтъ удавился въ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ, куда попалъ за кражу пары голубей; татарченокъ Хаби, двѣнадцатилѣтній силачъ, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сынъ кладбищенскаго сторожа и могильщика, мальчикъ лѣтъ восьми, молчаливый, какъ рыба, страдавшій «черной немочью», а самымъ старшимъ по возрасту, былъ сынъ портнихи-вдовы Гришка Чурка, человѣкъ разсудительный, справедливый и страстный кулачный боецъ, — всѣ — люди съ одной улицы.

Воровство въ слободѣ не считалось грѣхомъ, являясь обычаемъ и почти единственнымъ средствомъ къ жизни для полуголодныхъ мѣщанъ. Полтора мѣсяца ярмарки не могли накормить на весь годъ, и очень много почтенныхъ домохозяевъ «прирабатывали на рѣкѣ» — ловили дрова и бревна, унесенныя половодьемъ, перевозили на досчанникахъ мелкій грузъ, но главнымъ образомъ занимались воровствомъ съ баржъ и вообще — «мартышничали» на Волгѣ и Окѣ, хватая все, что было плохо положено. По праздникамъ большіе хвастались удачами своими, маленькіе слушали и учились.

Весною, въ горячее время передъ ярмаркой, по вечерамъ улицы слободы были обильно засѣяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всякимъ рабочимъ людомъ — слободскіе ребятишки всегда ошаривали ихъ карманы, это былъ промыселъ узаконенный, имъ занимались безбоязненно, на глазахъ старшихъ.

Воровали инструментъ у плотниковъ, гаечные ключи у легковыхъ извозчиковъ, а у ломовыхъ — шкворни, же-

лѣзныя поддоски изъ желѣзныхъ осей, — наша компанія этими дѣлами не занималась; Чурка однажды рѣшительно заявилъ:

— Я воровать не буду, мнѣ мамка не велитъ.

— А я — боюсь! — сказалъ Хаби.

У Костромы было чувство брезгливости къ воришкамъ, слово — воръ онъ произносилъ особенно сильно, и когда видѣлъ, что чужіе ребята обираютъ пьяныхъ — разгонялъ ихъ, если же удавалось поймать мальчика — жестоко билъ его. Этотъ большеглазый, невеселый мальчикъ воображалъ себя взрослымъ, онъ ходилъ особенной походкой, въ перевалку, точно крючникъ, старался говорить густымъ, грубымъ голосомъ, весь онъ былъ какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь былъ увѣренъ, что воровство — грѣхъ.

Но таскать тесъ и жерди съ Песковъ не считалось грѣхомъ, никто изъ насъ не боялся этого, и мы выработали рядъ пріемовъ, очень успѣшно облегчавшихъ намъ это дѣло. Вечеромъ, когда темнѣло, или въ ненастный день, Вяхирь и Язь отправлялись на Пески черезъ затонъ по набухшему, мокрому льду, — они шли открыто, стараясь обратить на себя вниманіе сторожей, а мы, четверо, перебирались незамѣтно, порознь. Сторожа, встревоженные Яземъ и Вяхиремъ, слѣдили за ними, мы собирались у заранѣе назначеннаго штабеля, выбирали себѣ поноски и, пока быстроногіе товарищи дразнятъ сторожей, заставляя ихъ бѣгать за собою, мы отправляемся назадъ. У каждаго изъ насъ веревка, на концѣ ея загнутъ крючкомъ большой гвоздь, зацѣпивъ имъ тесины или жерди мы волокли ихъ по снѣгу и по льду, — сторожа почти никогда не замѣчали насъ, а замѣтивъ — не могли догнать. Продавъ поноски, мы дѣлили выручку на шесть частей, — приходилось по пятаку, иногда по семи копѣекъ на брата.

На эти деньги можно было очень сытно прожитъ

день, но Вяхиря била мать, если онъ не приносилъ ей на шкаликъ или на косушку водки; Кострома копилъ деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, онъ старался заработать какъ можно больше; Хаби тоже копилъ деньги, собираясь ѣхать въ городъ, гдѣ онъ родился и откуда его вывезъ дядя, вскорѣ по пріѣздѣ въ Нижній утонувшій. Хаби забылъ, какъ называется городъ, помнилъ только, что онъ стоитъ на Камѣ, близко отъ Волги.

Насъ почему-то очень смѣшилъ этотъ городъ, мы дразнили косоглазаго татарченка, распѣвая:

Городъ на Камѣ,
Гдѣ — не знаемъ сами!
Не достать руками,
Не дойти ногами!

Сначала Хаби сердился на насъ, но однажды Вяхирь сказалъ ему воркующимъ голосомъ, который оправдывалъ прозвище:

— Чего ты? Развѣ на таварищевъ сердются?

Татарченокъ сконфузился и самъ сталъ распѣвать о городѣ на Камѣ.

Намъ, все-таки, больше нравилось собираніе тряпокъ и костей, чѣмъ воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошелъ снѣгъ, и послѣ дождей, чисто смывавшихъ мощенныя улицы пустынной ярмарки. Тамъ, на ярмаркѣ, всегда можно было собрать въ канавахъ много гвоздей, обломковъ желѣза, нерѣдко мы находили деньги, мѣдь и серебро, но для того, чтобы рядскіе сторожа не гоняли насъ и не отнимали мѣшковъ, нужно было платить имъ семишники или долго кланяться имъ. Вообще деньги давались намъ не легко, но жили мы очень дружно и хотя иногда ссорились немножко, — я не помню ни одной драки между нами.

Нашимъ миротворцемъ былъ Вяхирь, онъ всегда умѣлъ во время сказать намъ какія-то особенныя слова,

простыя, они удивляли и конфузили насъ. Онъ и самъ говорилъ ихъ съ удивленіемъ. Злыя выходки Язя не обижали, не пугали его, онъ находилъ все дурное ненужнымъ и спокойно, убѣдительно отрицалъ:

— Ну, зачѣмъ это еще? — спрашивалъ онъ, и мы ясно видѣли — не зачѣмъ.

Матъ свою онъ называлъ: «моя мордовка», — это не смѣшило насъ.

— Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая! — весело разсказывалъ онъ, поблескивая круглыми глазами золотистаго цвѣта. — Расхлебянила дверь, сѣла на порогѣ и поетъ, и поетъ, курица!

Положительный Чурка спрашивалъ:

— Что — поетъ?

Вяхирь, прихлопывая ладонью по колѣну, тонкимъ голоскомъ воспроизводилъ пѣсню своей матери:

Ой, стукъ-постукъ —
Молодой пастухъ,
Онъ — въ окошко падогомъ,
Мы на улицу бѣгомъ!
Пастухъ-постукъ —
Вечерняя зорька,
Заиграетъ на свирѣли —
Всѣ въ деревнѣ присмирѣли!

Онъ зналъ множество такихъ задорныхъ пѣсенекъ и очень ловко распѣвалъ ихъ.

— Да, — продолжаетъ онъ, — такъ она и заснула на порогѣ, выстудила горницу, бѣда какъ, я весь дрожу, чуть не замерзъ, а стащить ее, — силы не хватаетъ. Ужъ сегодня утромъ говорю ей: что ты такая страшная пьяница? А она говоритъ: ничего, потерпи немножко, я ужъ скоро помру!

Чурка серьезно подтверждаетъ:

— Она скоро помретъ, набухла ужъ вся.

— Жалко будетъ тебѣ? — спрашиваю я.

— А какъ же? — удивляется Вяхирь. — Она, вѣдь, у меня хорошая...

И всѣ мы, зная, что мордовка походя колотитъ Вяхиря, вѣрили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудачъ, Чурка предлагалъ:

— Давайте, сложимся по копѣйкѣ, Вяхиревой матери на вино, а то она побьетъ его!

Грамотныхъ въ компаніи было двое — Чурка да я; Вяхирь очень завидовалъ намъ и ворковалъ, дергая себя за острое, мышиное ухо:

— Схороню свою мордовку, — тоже пойду въ училище, поклонюсь учителю въ ножки, чтобы взялъ меня. Выучусь — въ садовники наймусь къ архирею, а то къ самому царю!...

Весною, мордовку, вмѣстѣ со старикомъ, сборщикомъ на построеніе храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на нихъ полѣнницей дровъ; женщину отвезли въ больницу, а солидный Чурка сказалъ Вяхирю:

— Айда ко мнѣ жить, мамка моя выучитъ тебя грамотѣ...

И черезъ малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читалъ вывѣски:

— Балакейная лавка...

Чурка поправлялъ его:

— Бакалейная, кикимора!

— Я вижу, да перескакиваютъ буквовки.

— Буковки!

— Они прыгаютъ — рады, что читаютъ ихъ!

Онъ очень смѣшилъ и удивлялъ всѣхъ насъ своей любовью къ деревьямъ, травамъ.

Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью, лишь кое гдѣ, по дворамъ одиноко торчали бѣдныя ветлы, кривые кусты бузины, да подъ заборомъ робко прятались сѣрыя, сухія былинки; — если кто ни-

будь изъ насъ садился на нихъ — Вяхирь сердито ворчалъ:

— Ну, на что траву мнете? Сѣли бы мимо, на песокъ, не все ли равно вамъ?

При немъ неловко было сломать сучекъ ветлы, сорвать цвѣтущую вѣтку бузины или срѣзать прутъ ивняка на берегу Оки — онъ всегда удивлялся, вздернувъ плечи и разводя руками:

— Что вы все ломаете? Вотъ ужъ, черти!

И всѣмъ было стыдно отъ его удивленія.

По субботамъ мы устраивали веселую забаву, — готовились къ ней всю недѣлю, собирая по улицамъ стоптанные лапти, складывая ихъ въ укромныхъ углахъ. Вечеромъ, въ субботу, когда съ Сибирской пристани шли домой ватаги крючниковъ-татаръ, мы, занявъ позиціи, гдѣ нибудь на перекресткѣ, начинали швырять въ татаръ лаптями. Сначала это раздражало ихъ, они бѣгали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою, и, уже зная, что́ ихъ ждетъ, являлись на полѣ сраженія тоже вооруженными множествомъ лаптей, мало того, — подсмотрѣвъ, куда мы прячемъ боевой матеріалъ, они, не однажды, обкрадывали насъ, — мы жаловались имъ:

— Это — не игра!

Тогда они дѣлили лапти, отдавая намъ половину, и — начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытомъ мѣстѣ, въ центрѣ перекрестка, мы, съ визгомъ, носились вокругъ ихъ, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто нибудь изъ насъ на бѣгу зарывался головою въ песокъ, сбитый лаптемъ, ловко брошеннымъ подъ ноги.

Игра горѣла долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мѣщанство, выглядывало изъ-за угловъ и ворчало, порядка ради. Воро́нами летали по воздуху сѣрые, пыль-

ные лапти, иногда кому нибудь изъ насъ сильно доставалось, но удовольствіе было выше боли и обиды.

Татаре горячились не меньше насъ; часто, кончивъ бой, мы шли съ ними въ артель, тамъ они кормили насъ сладкой кониной, какимъ то особеннымъ варевомъ изъ овощей, послѣ ужина пили густой, кирпичный чай, со сдобными орѣшками изъ сладкаго тѣста. Намъ нравились эти огромные люди, на подборъ — силачи, въ нихъ было что то дѣтское, очень понятное, — меня особенно поражала ихъ незлобивость, непоколебимое добродушіе и внимательное, серьезное отношеніе другъ ко другу.

Всѣ они превосходно смѣялись, до слезъ захлебываясь смѣхомъ, а одинъ изъ нихъ — касимовецъ, съ изломаннымъ носомъ, мужикъ сказочной силы: онъ снесъ однажды съ баржи далеко на берегъ колоколъ въ двадцать семь пудовъ вѣса, — онъ смѣясь вылъ и кричалъ:

— Вву, вву! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета слова-та!

Однажды онъ посадилъ Вяхиря на ладонь себѣ, поднялъ его высоко и сказалъ:

— Вотъ гдѣ живи, небеснай!

Въ ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбищѣ, въ сторожкѣ его отца. Это былъ человѣкъ кривыхъ костей, длиннорукій, измызганный, на его маленькой головѣ, на темномъ лицѣ кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохшій репѣй, длинная, тонкая шея — стебель. Онъ сладко жмурилъ какіе то желтые глаза и скороговоркой бормоталъ:

— Не дай Господь безсонницу! Ухъ!

Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлѣба, обязательно — шкаликъ водки отцу Язя, Чурка строго приказывалъ ему:

— Дрянной мужикъ, — ставь самоваръ!

Мужикъ, усмѣхаясь, ставилъ жестяной самоваръ, мы,

въ ожиданіи чая, разсуждали о своихъ дѣлахъ, онъ давалъ намъ добрые совѣты:

— Глядите, — послѣ завтрея сороковины у Трусовыхъ, большой столъ будетъ, — вотъ они гдѣ, кости вамъ!

— У Трусовыхъ кости кухарка собираетъ, — замѣчалъ всезнающій Чурка.

Вяхирь мечталъ, глядя въ окно на кладбище:

— Скоро въ лѣсъ ходить будемъ, охъ ты!

Язъ всегда молчалъ, внимательно разглядывая всѣхъ печальными глазами, молча же онъ показывалъ намъ свои игрушки, — деревянныхъ солдатъ, добытыхъ изъ мусорной ямы, безногихъ лошадей, обломки мѣди, пуговицы.

Отецъ его ставилъ на столъ разнообразныя чашки, кружки, подавалъ самоваръ, — Кострома садился разливать чай, а онъ, выпивъ свой шкаликъ, залѣзалъ на печь и, вытянувъ оттуда длинную шею, разглядывалъ насъ совиными глазами, ворчалъ:

— Ухъ, чтобъ вамъ сдохнуть, — будто и не мальчишки вѣдь, а? Ахъ, воры, не дай Господь безсонницу!

Вяхирь говорилъ ему:

— Мы вовсе не воры!

— Ну, инъ, воришки...

Если Язевъ отецъ надоѣдалъ намъ, — Чурка сердито окрикивалъ его:

— Отстань, дрянной мужикъ!

Мнѣ, Вяхирю и Чуркѣ очень не нравилось, когда этотъ человѣкъ начиналъ перечислять, въ какомъ домѣ есть хворые, кто изъ слобожанъ скоро умретъ, — онъ говорилъ объ этомъ смачно и безжалостно, а видя, что намъ непріятны его рѣчи, — нарочно дразнилъ и подзуживалъ насъ:

— Ага-а, бойтесь, шишиги! То-то! А вотъ скоро одинъ толстый помретъ, — эхъ, и долго ему гнить!

Его останавливали, — онъ не унимался:

— А вѣдь и вамъ надо умирать, на помойныхъ-то ямахъ недолго проживете!

— Ну, такъ и умремъ, — говорилъ Вяхирь, — насъ въ ангелы возьмутъ...

— Ва-васъ? — задыхался отъ изумленія Язевъ отецъ. — Это — васъ? Въ ангелы?

Хохоталъ и снова дразнилъ, разсказывая о покойникахъ разныя пакости.

Но иногда этотъ человѣкъ вдругъ начиналъ говорить журчащимъ, пониженнымъ голосомъ что-то странное.

— Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вотъ, третьеводни захоронили одну бабу, узналъ я, ребятенки, про нее исторію — что же это за баба?

Онъ очень часто говорилъ про женщинъ и всегда — грязно, но было въ его разсказахъ что-то спрашивающее, жалобное, онъ какъ-бы приглашалъ насъ думать съ нимъ, и мы слушали его внимательно. Говорилъ онъ неумѣло, безтолково, часто перебивая свою рѣчь вопросами, но отъ его разсказовъ оставались въ памяти какіе то безпокоящіе осколки и обломки:

— Спрашиваютъ ее: кто поджогъ? Я подожгла! Какъ-такъ, дура? Тебя дома не было въ тую ночь, ты въ больницѣ лежала! Я подожгла! Это она — зачѣмъ же? Ухъ, не дай Господь безсонницу...

Онъ зналъ исторію жизни почти каждаго слобожанина, зарытаго имъ въ песокъ унылаго, голаго кладбища, онъ какъ-бы отворялъ предъ нами двери домовъ, мы входили въ нихъ, видѣли, какъ живутъ люди; — чувствовали что-то серьезное, важное. Онъ, кажется, могъ-бы говорить всю ночь до утра, но какъ только окно сторожки мутнѣло, прикрываясь сумракомъ, Чурка вставалъ изъ-за стола:

— Я — домой, а то мамка бояться будетъ. Кто со мной?

Уходили всѣ; Язь провожалъ насъ до ограды, запиралъ ворота и, прижавъ къ рѣшеткѣ темное, костлявое лицо, глухо говорилъ:

— Прощайте!

Мы тоже кричали ему — прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбищѣ. Кострома сказалъ однажды, оглянувшись назадъ:

— Вотъ, проснемся завтра, а онъ — померъ.

— Язю хуже всѣхъ жить, — часто говорилъ Чурка, а Вяхирь всегда возражалъ:

— Намъ вовсе не плохо...

И на мой взглядъ намъ жилось не плохо, — мнѣ эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда безпокойно хотѣлось сдѣлать что-нибудь хорошее для нихъ.

Въ школѣ мнѣ снова стало трудно, ученики высмѣивали меня, называя ветошникомъ, нищебродомъ, а однажды, послѣ ссоры, заявили учителю, что отъ меня пахнетъ помойной ямой и нельзя сидѣть рядомъ со мной. Помню, какъ глубоко я былъ обиженъ этой жалобой и какъ трудно было мнѣ ходить въ школу послѣ нея. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходилъ въ школу въ той одеждѣ, въ которой собиралъ тряпье.

Но вотъ, наконецъ, я сдалъ экзаменъ въ третій классъ, получилъ въ награду Евангеліе, Басни Крылова въ переплетѣ и еще книжку безъ переплета, съ непонятнымъ титуломъ — «Фата-Моргана», дали мнѣ также похвальный листъ. Когда я принесъ эти подарки домой, дѣдъ очень обрадовался, растрогался и заявилъ, что все это нужно беречь и что онъ запретъ книги въ укладку

себѣ. Бабушка уже нѣсколько дней лежала больная, у нея не было денегъ, дѣдъ охалъ и взвизгивалъ:

— Опиваете вы меня, объѣдаете до костей, эхъ, вы-и...

Я отнесъ книги въ лавочку, продалъ ихъ за пятьдесятъ пять копѣекъ, отдалъ деньги бабушкѣ, а похвальный листъ испортилъ какими то надписями и тогда же вручилъ дѣду. Онъ бережно спряталъ бумагу, не развернувъ ее и не замѣтивъ моего озорства, я поплатился за это послѣ.

Раздѣлавшись со школой, я снова зажилъ на улицѣ, теперь стало еще лучше, — весна была въ разгарѣ, заработокъ сталъ обильнѣй, по воскресеніямъ мы всей компаніей съ утра уходили въ поле, въ сосновую рощу, возвращались въ слободу поздно вечеромъ, пріятно усталые и еще болѣе близкіе другъ другу.

Но эта жизнь продолжалась не долго — вотчиму отказали отъ должности, онъ снова куда-то изчезъ, мать, съ маленькимъ братомъ Николаемъ, переселилась къ дѣду, и на меня была возложена обязанность няньки, — бабушка ушла въ городъ и жила тамъ въ домѣ богатаго купца, вышивая покровъ на плащаницу.

Нѣмая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами, братъ былъ золотушный, съ язвами на щиколоткахъ, и такой слабенькій, что даже плакать громко не могъ, а только стоналъ потрясающе, если былъ голоденъ, сытый же дремалъ и сквозь дрему какъ то странно вздыхалъ, мурлыкалъ тихонько, точно котенокъ.

Внимательно ощупавъ его, дѣдъ сказалъ:

— Кормить-бы надобно его хорошенько, да не хватаетъ у меня кормовъ-то на всѣхъ васъ...

Мать, сидя въ углу на постели, хрипло вздохнула:

— Ему не много надо...

— Тому — не много, этому — не много, и выходитъ много...

Онъ махнулъ рукой и обратился ко мнѣ:

— Держать Николая надо на волѣ, на солнышкѣ, въ пескѣ...

Я натаскалъ мѣшкомъ чистаго сухого песку, сложилъ его кучей на припекѣ подъ окномъ и зарывалъ брата по шею, какъ было указано дѣдушкой. Мальчику нравилось сидѣть въ пескѣ, онъ сладко жмурился и свѣтилъ мнѣ необыкновенными глазами, — безъ бѣлковъ, только одни голубые зрачки, окруженные свѣтлымъ колечкомъ.

Я сразу и крѣпко привязался къ брату, мнѣ казалось, что онъ понимаетъ все, о чемъ думаю я, лежа рядомъ съ нимъ на пескѣ подъ окномъ, откуда ползетъ къ намъ скрипучій голосъ дѣда.

— Умереть — не велика мудрость, ты бы вотъ жить умѣла!

Мать затяжно кашляетъ...

Высвободивъ ручки, мальчикъ тянется ко мнѣ, покачивая бѣлой головенькой; волосы у него рѣдкіе, отливаютъ сѣдиной, а личико старенькое, мудрое.

Если близко къ намъ подходитъ курица, кошка, — Коля долго присматривается къ нимъ, потомъ смотритъ на меня и чуть замѣтно улыбается, — меня смущаетъ эта улыбка — не чувствуетъ ли братъ, что мнѣ скучно съ нимъ и хочется убѣжать на улицу, оставивъ его.

Дворъ — маленькій, тѣсный и сорный, отъ воротъ идутъ построенные изъ горбушинъ сарайчики, дровяники и погреба, потомъ они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодокъ, полѣньями дровъ, досками, сырою щепой — все это мѣщане выловили изъ Оки во время ледохода и половодья. И весь дворъ неприглядно заваленъ грудами разнаго дерева; на-

сыщенное водою, оно прѣетъ на солнцѣ, распространяя запахъ гнили.

Рядомъ — бойня мелкаго скота, почти каждое утро тамъ мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнетъ такъ густо, что иногда мнѣ казалось, — этотъ запахъ колеблется въ пыльномъ воздухѣ прозрачно багровой сѣткой.

Когда мычали животныя, оглушаемыя ударомъ топора — обухомъ между роговъ — Коля прищуривалъ глаза и надувая губы, должно быть хотѣлъ повторить звукъ, но только выдувалъ воздухъ:

— Ффу...

Въ полдень дѣдъ, высунувъ голову изъ окна, кричалъ:

— Обѣдать!

Онъ самъ кормилъ ребенка, держа его на колѣняхъ у себя, — пожуетъ картофеля, хлѣба и кривымъ пальцемъ сунетъ въ ротикъ Коли, пачкая тонкія его губы и остренькій подбородокъ. Покормивъ немного, дѣдъ приподнималъ рубашенку мальчика, тыкалъ пальцемъ въ его вздутый животикъ и вслухъ соображалъ:

— Будетъ, что-ли? Али еще дать?

Изъ темнаго угла около двери раздавался голосъ матери:

— Видите же вы, — онъ тянется за хлѣбомъ!

— Ребенокъ глупъ! Онъ не можетъ знать, сколько надо ему съѣсть...

И снова совалъ въ ротъ Коли жвачку. Смотрѣть на это кормленіе мнѣ было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

— Ну, ладно! — говорилъ, наконецъ, дѣдъ. — На-ко, отнеси его къ матери.

Я бралъ Колю, — онъ стоналъ и тянулся къ столу. Встрѣчу мнѣ, хрипя, поднималась мать, протягивая сухія

руки безъ мяса на нихъ, длинная, тонкая, точно ель съ обломанными вѣтвями.

Она совсѣмъ онѣмѣла, рѣдко скажетъ слово кипящимъ голосомъ, а то цѣлый день молча лежитъ въ углу и умираетъ. Что она умирала, — это я, конечно, чувствовалъ, зналъ, да и дѣдъ слишкомъ часто, назойливо говорилъ о смерти, особенно по вечерамъ, когда на дворѣ темнѣло и въ окна влѣзалъ теплый, какъ овчина, жирный запахъ гнили.

Дѣдова кровать стояла въ переднемъ углу, почти подъ образами, онъ ложился головою къ нимъ и окошку, ложился и долго ворчалъ въ темнотѣ:

— Вотъ, — пришло время умирать. Съ какой рожей предъ Богомъ встанемъ? Что скажемъ? А вѣдь весь вѣкъ суетились, чего-то дѣлали... До чего дошли?...

Я спалъ между печью и окномъ, на полу, мнѣ было коротко, ноги я засовывалъ въ подпечекъ, ихъ щекотали тараканы. Этотъ уголъ доставилъ мнѣ не мало злыхъ удовольствій — дѣдъ, стряпая, постояннно вибивалъ стекла въ окнѣ концами ухватовъ и кочерги. Было смѣшно и странно, что онъ, такой умный, не догадается обрѣзать ухваты.

Однажды, когда у него что-то перекипѣло въ горшкѣ, онъ заторопился и такъ рванулъ ухватомъ, что вышибъ перекладину рамы, оба стекла, опрокинулъ горшокъ на шесткѣ и разбилъ его. Это такъ огорчило старика, что онъ сѣлъ на полъ и заплакалъ.

— Господи, Господи...

Днемъ, когда онъ ушелъ, я взялъ хлѣбный ножъ и обрѣзалъ ухваты четверти на три, но дѣдъ, увидавъ мою работу, началъ ругаться:

— Бѣсъ проклятый, — пилой надо было отпилить, пило-ой! Изъ концовъ-то скалки вышли-бы, продать-бы ихъ можно, дьяволово сѣмя!

Махая руками, онъ выбѣжалъ въ сѣни, а мать сказала:

— Не совался бы ты...

Умерла она въ августѣ, въ воскресенье, около полудня. Вотчимъ только что воротился изъ своей поѣздки и снова гдѣ-то служилъ, бабушка съ Колей уже перебралась къ нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на дняхъ должны были перевезти и мать.

Утромъ, въ день смерти, она сказала мнѣ тихо, но болѣе яснымъ и легкимъ голосомъ, чѣмъ всегда:

— Сходи къ Евгенію Васильевичу, скажи — прошу его придти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою въ стѣну и сѣла, добавивъ:

— Скорѣй бѣги!

Мнѣ показалось, что она улыбается, и что-то новое свѣтилось въ ея глазахъ. Вотчимъ былъ у обѣдни, бабушка послала меня за табакомъ къ еврейкѣ-будочницѣ, готоваго табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потомъ отнести его бабушкѣ.

Когда я воротился къ дѣду, мать сидѣла за столомъ, одѣтая въ чистое сирѣневое платье, красиво причесанная, важная по прежнему.

— Тебѣ стало лучше? — спросилъ я, оробѣвъ почему-то.

Жутко глядя на меня, она сказала:

— Поди сюда! Ты гдѣ шлялся, а?

Я не успѣлъ отвѣтить, какъ она, схвативъ меня за волосы, взяла въ другую руку длинный гибкій ножъ, сдѣланный изъ пилы, и съ размаха нѣсколько разъ ударила меня плашмя, — ножъ вырвался изъ руки у нея.

— Подними! Дай...

Я поднялъ ножъ, бросилъ его на столъ, мать от-

толкнула меня; я сѣлъ на приступокъ печи, испуганно слѣдя за нею.

Вставъ со стула, она медленно передвинулась въ свой уголъ, легла на постель и стала вытирать платкомъ вспотѣвшее лицо. Рука ея двигалась невѣрно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платкомъ по ней. . . . .

— Дай воды...

Я зачерпнулъ изъ ведра чашкой, она, съ трудомъ приподнявъ голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнувъ. Потомъ взглянула въ уголъ на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмѣхнувшись, и медленно опустила на глаза длинныя рѣсницы. Локти ея плотно прижались къ бокамъ, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь къ горлу. По лицу ея плыла тѣнь, уходя въ глубь лица, натягивая желтую кожу, заостривъ носъ. Удивленно открывался ротъ, но дыханія не было слышно. . . . . . .

Неизмѣримо долго стоялъ я съ чашкой въ рукѣ у постели матери, глядя, какъ застываетъ, сѣрѣетъ ея лицо.

Вошелъ дѣдъ, я сказалъ ему:

— Умерла мать...

Онъ заглянулъ на постель.

— Что врешь?

Ушелъ къ печи и сталъ вынимать пирогъ, оглушительно гремя заслономъ и противнемъ. Я смотрѣлъ на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда онъ пойметъ это. . . . .

Пришелъ вотчимъ въ парусиновомъ пиджакѣ, въ бѣлой фуражкѣ. Безшумно взялъ стулъ, понесъ его къ постели матери и вдругъ, ударивъ стуломъ о полъ, крикнулъ громко, какъ мѣдная труба:

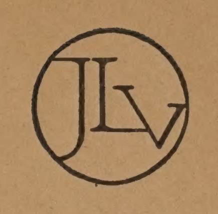
— Да, она умерла, смотрите...

Дѣдъ, вытаращивъ глаза, тихонько двигался отъ печи съ заслономъ въ рукѣ, спотыкаясь, какъ слѣпой.

Черезъ нѣсколько дней послѣ похоронъ матери, дѣдъ сказалъ мнѣ:

— Ну, Лексѣй, ты — не медаль, на шеѣ у меня — не мѣсто тебѣ, а иди-ка ты въ люди...

И пошелъ я въ люди.


JLV